

Военные
Приключения

ПОСТ № 113



ВАЛЕРИЙ ПОВОЛЯЕВ

Валерий Дмитриевич Поволяев

Пост № 113

Серия «Военные приключения»

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=48671211

Пост № 113 : роман / Валерий Поволяев: Вече; Москва; 2019

ISBN 978-5-4484-8052-2

Аннотация

Аэростаты, повисшие в небе над прифронтовой Москвой... Эта картина хорошо знакома нам по старым фотографиям и кадрам военной хроники. Но многие ли знают о том, что службу в частях, прикрывавших столицу нашей Родины от фашистских бомбардировщиков, несли практически исключительно девушки? Об их непростых судьбах, военных путях-дорогах, схватках с немецкими диверсантами рассказывает эта книга.

Новый роман признанного мастера отечественной военно-приключенческой литературы, лауреата литературной премии «Во славу Отечества».

Содержание

Пост № 113

5

Конец ознакомительного фрагмента.

88

Валерий Поволяев

Пост № 113

«Военные приключения»® является зарегистрированным товарным знаком, владельцем которого выступает ООО «Издательство «Вече».

Согласно действующему законодательству без согласования с издательством использование данного товарного знака третьими лицами категорически запрещается.

Пост № 113

Трамвай вынырнул из-за деревьев внезапно, громко проскрежетал на повороте колесами, накренился опасно, – содалось такое впечатление, что сейчас он ляжет набок и краем неуклюжей своей рамы сдерет с земли серый, в выщербинах асфальт, но этого не произошло, все обошлось.

То ли запас скрежета в трамвае закончился, то ли некий высший дух решил, что трамвай потом будет слишком хлопотно поднимать и еще более хлопотно ставить на колеса, – в общем, гремящий всеми железками, имеющимися у него, транспорт этот все-таки не перевернулся, благополучно подкатил к остановке и затормозил.

Народа на остановке собралось много, все спешили на работу, а опоздание для любого из этих угрюмых неразговорчивых работяг могло закончиться тюремной решеткой: жизнь в осенней Москве сорок первого года была суровой.

За первое опоздание виновник получал хороший подзатыльник, от которого зубы из челюстей выскакивали сами, после второго опоздания проштрафившегося вызывал к себе товарищ в красно-голубой фуражке и приставлял к нему конвой.

Героя такой истории ожидала скамья в зале суда, поэтому рабочий люд боялся опозданий пуще молнии, упавшей с неба: лучше появиться у своего токарного или револьвер-

ного станка на полчаса раньше, чем на полторы минуты позже. Эти полторы минуты могли перевернуть жизнь всякого, кто находился сейчас на трамвайной остановке, и сделать его несчастным.

Но как бы ни спешили люди, все они посторонились, пропуская в вагон четырех девушек в защитных красноармейских ватниках, – они за ручки, похожие на лямки от рюкзака, волокли громоздкий пакет, сшитый из брезента.

Знающему народу не надо было рассказывать, что в этом пакете находится, – газетчики из «Вечерней Москвы» назвали как-то содержимое пакета «надежной защитой от гитлеровских самолетов, нападающих на Москву».

А тоненькие суровые девушки называли свой груз проще – «воздушной колбасой» – и представляли они девятый воздухоплавательный полк, обслуживающий заградительные аэростаты. В объемистый брезентовый чехол была вложена оболочка аэростата заграждения – АЗ.

Ткань аэростатная – прочная, тяжелая, в стыках полотнище пропитано каучуком, справляться с пакетом было непросто, но девушки в телогрейках хорошо знали, что во много раз труднее бывает управляться с матерчатой колбасой, когда она висит в воздухе, на высоте, с трудом сдерживаемая стальным тросом.

А высоту колбаса может набирать очень приличную – пять тысяч метров. Может набирать и больше, но если длина троса превысит пять километров, то аэростат сделается

неуправляемым.

Девушки сноровисто закинули шестидесятикилограммовый пакет в трамвай, на заднюю площадку. АЗ занял площадку едва ли не целиком, плотно припечатавшись к ребристому полу, собранному из деревянных реек, лишь для прохода остался маленький коридорчик. Но вот для того, чтобы постоять в хвосте вагона и поглазеть на уползающую назад улицу, – достойное занятие для всякого любопытного человека, – места уже не было совсем.

Среди тех, кто садился в вагон по дороге, обязательно находился один недовольный дядёк, который начинал глухо бухтеть под нос, негодуя на аэростатчиц – с какой, дескать, такой стати они оккупировали трамвай, а? И вообще всякие громоздкие манатки надо возить на крыше или заказывать для них такси и так далее – наговорить глупостей такой дядёк мог много...

Билетерша, обслуживавшая трамвай, чаще всего молчала, не поддерживала ни бурчливых пассажиров, ни аэростатчиц, народ же в большинстве своем, как всегда, безмолвствовал... Хотя на Руси еще со стародавних времен считалось: молчание – знак согласия... Но нормальные люди, в том числе и билетерша, прекрасно понимали, что четыре девчонки, не всегда накормленные, а зачастую просто голодные, на себе этот груз до места назначения просто-напросто не доволокут.

А это означало, что кусок московского неба, который

специалисты по противовоздушной обороне намечали прикрыть аэростатом, останется неприкрытым, в небе будет дыра, в которую, как кусачие мухи, полетят «лаптежники» – немецкие бомбардировщики «юнкерс-88» и «хейнкель-111», и если они прорвутся, то на крыши домов и головы людей посыплется начиненные взрывчаткой стальные чушки.

Те, кто слышал когда-то их голос, покрывается холодной сыпью и бывает готов живьем уйти в землю. Чушки несутся на дома с отчаянным воем и сатанинскими стонами, они способны любую удалую голову срубить с плеч, а пятиэтажный каменный дом легко прошибают насквозь, от конька крыши до холодного подвала...

– Ну все, девчонки, полдела сделано, в трамвай мы втиснулись, осталось теперь довести наш Азе до точки и доволочь до места, где он будет стоять. Так что крепитесь, подружки! – сказала старшая из аэростатчиц, рослая девушка с двумя треугольничками в петлицах, нашитых на отложной воротник телогрейки, с любопытными карими глазами и вздернутым носиком, похожая на спортсменку-десятиклассницу, не успевшую сдать выпускные экзамены в школе, – слишком уж озабоченный вид у нее был. Это была Ася Трубачева, моторист аэростатного поста.

На очередной остановке, едва трамвай перестал греметь колесами, на площадку вскочил здоровый кудлатый мужик с одной рукой и разными глазами: один глаз у него был крап-

чатый в зелень, другой крапчатый в коричневую, – зыркнул недобро в сторону аэростатчиц и прокричал несмазанным голосом:

– Вам для выполнения ваших заданий положена военная техника – целая полуторка, а вы своим мусором забиваете гражданский транспорт... Тьфу! Я пожалуй, куда надо, – разноглазый потыкал указательным пальцем своей единственной руки вверх, в потолок вагона, – туда вон!

Аэростатчицы молчали. А вот кондукторша на этот раз не выдержала, вскинулась на своем деревянном стульчике:

– Слышь, мужик, будешь кропотать, как страус, засунувший яйца в песок, я тебя высажу из вагона... Даже на инвалидность не посмотрю.

– Как? – опешил разноглазый. – За что?

– За вредность. И как только тебя дома, такого малохолдного, баба терпит?

– Дык... Дак... Дэк... – разноглазый, не ожидавший такого поворота событий, задергался нервно. – Дук...

– Смотри, – предупредила его билетерша, – не то тебе и «дык» будет, и «дак» и все остальные буквы русского алфавита. Понял, мужик? Еще два слова, унижающие достоинство женщин-воинов сталинской Красной армии, и я тебя сдам первому встречному патрулю. Скажу, что ты мешаешь красноармейцам выполнять свой воинский долг.

Насчет сталинской Красной армии и воинского долга сообразительная женщина ввернула хорошо.

На этот раз разноглазый даже промычать ничего не смог – похоже, проглотил собственный язык.

– Вот-вот, – удовлетворенно произнесла билетерша, – и впредь держи свой язык в желудке, он у тебя там сохраннее будет. Понял?

Разноглазый икнул – что-то возникло у него в глотке, возникло и лопнуло, неудачливый скандалист на некоторое время лишился речи...

Команда Аси Трубачевой благополучно довезла громоздкий пакет до трамвайного круга, а оттуда надо было еще добираться до места, отведенного под стоянку «воздушной колбасы».

Место это, увы, было новое, непривычное, его нужно было еще обживать, узнавать все – и где водичкой можно разжиться, и где хлеба при случае купить, и вообще имеются ли тут в радиусе километра магазины, и среди населения найти людей, которые могли бы в случае беды поддержать аэростатчиц, – таких людей, надо заметить, было больше, чем разноглазых трамвайных попутчиков, – и землянки себе вырыть, и стоянки для «колбас», а также для лебедки с двигателем оборудовать, и стол со скамейками вкопать в землю – в общем, предстояло построить полноценный бивак, где и жить придется, и отдыхать, когда такая возможность выпадет, и вообще считать временный дом этот своей надежной крепостью.

Пока же там стояли только две палатки.

До точки, на которой было приказано оборудовать пост, шли около часа. Отдыхать не отдыхали, только меняли руки, губами сдували пот с лица, да когда становилось совсем невмоготу, стискивали зубы.

Лишь Ася, у которой были трофейные немецкие часы «онемеханизмус», каждые пять – семь минут подавала команду:

– Смена рук!

Когда идти оставалось совсем немного, Ася, понимая, как тяжело подругам (самой ей было нисколько не легче), попросила умоляющим тоном:

– Девочки, ну потерпите чуть-чуть, осталось совсем немного...

Но чем ближе делалась точка, тем труднее становилось дышать, воздух застревал в горле, обжигал рот, губы кровоточили, сердце дробно колотилось в висках, хотелось упасть на землю и закрыть глаза... Но аэростатчицы держались, не падали.

На посту их встретил старший лейтенант Галямов, помог немного поднести пакет с оболочкой аэростата и скомандовал непрерываемым голосом:

– Девчонки, давайте в палатку, там чайник на примусе закипает. Выпейте по стакану «свежеморковного», переведите дух, а уж потом разбираться будем. Хлеб свежий из полка только что привезли...

Хлеб был серый, мягкий и духовитый. Заварки к чаю не

всегда хватало, поэтому покупали либо привозили из полковой столовой морковку, резали тонко и сушили ее, – получалось этакое крошево темно-коричневого цвета. Если насыпать в кружку крошева побольше и залить крутым кипятком, то можно было получить вполне приличный чай.

В палатке было тепло. Шипел, брызгаясь острыми всплесками звука, примус, звук этот домашний, хотя и колючий, был приятен, напоминал о довоенном прошлом, школьном детстве и коммунальных кухнях. Кружка морковного чая, подслащенная сахарином, начала вгонять в сон, и Трубачева, чтобы не задремать, решила выбраться из палатки наружу. Кружилась от усталости голова, примус с большим чумазым чайником норовил поплыть в сторону, надо было немного подышать свежим воздухом.

Рядом с палаткой росла скрипучая слезливая береза, которая когда-то была высокой, но потом макушку ей срубил бомба прорвавшегося к Москве «юнкерса», и береза перестала быть не только высокой, но и песенной красавицей, скрип дерева был печальным, с горькими нотками, рождающими внутри тоску, Ася приблизилась к обрубку ствола, прислонилась в нему щекой.

Следом за Трубачевой на улице оказалась Тоня Репина, ей тоже сделалось не по себе – перенапряглась, хотя деревенская жительница Тоня, привыкшая к сельским нагрузкам, была много крепче других девушек.

– Можно, я постою рядышком? – сиплым шепотом попро-

сила Тоня. – Ноги чего-то дрожат, не могу успокоить.

– Становись, места много, – таким же сиплым шепотом отозвалась Ася, – а ноги... Это от усталости – пройдет.

Воздух был стылым, недобрым, откуда-то тянуло маслянистым дымом, словно бы неподалеку горело гаражное помещение, по промороженной твердой земле волоклись длинные хвосты снежной крупки, от холода невольно ломило зубы.

Пространство было наполнено не только стынью, но и жесткой, буквально прилипающей к коже тревогой.

– Ась, а что это за район, где мы находимся?

– Не знаю, как называется это место, но недалеко отсюда находится граница печально знаменитой Марьиной Рощи. – Трубачева ткнула рукой вправо. – А по другую сторону, также недалеко отсюда, начинается Останкино, – последовал жест влево.

– Ты хорошо знаешь Москву?

Честно говоря, другого такой прямолинейный вопрос обидел бы, а Ася даже бровью не повела, может быть, даже вообще не обратила внимания на его прямолинейную колючесть.

– Если по правде, не очень. Я родилась на Бульварном кольце, а это – самый центр Москвы, жила там, там же окончила школу, все было там, словом. – Ася улыбнулась неожиданно беззаботно, весело. – Марьиная же Роща – район легендарный, окраина окраин, тут всегда жили самые легендарные

московские разбойники. Нам здесь появляться запрещали. В общем, Марьино Роща ближе к Москве, чем мы.

– А почему запрещали появляться? – наивно округлила глаза Тоня, усталость с нее буквально слетала – как рукой сняло, будто и не было тяжелого пути с шестидесятикилограммовым грузом на руках. – И кто запрещал?

– Взрослые запрещали. – Трубачева хотела объяснить что-то еще, потом поняла, что этого делать не надо, Тоня все равно не поймет, в деревне таких правил не изучали. Москва была для Тони другим государством: неведомым, очень интересным, к которому ее деревня не причислялась.

– Взрослые. – Тоня наморщила небольшой покатый лоб, хмыкнула. – У нас в колхозе взрослые тоже ничего не разрешали, можно было только работать, копать огород, убирать рожь, веять и сушить зерно, всему остальному – вот это. – Тоня скрестила перед собой руки. Жест был выразительным. – В деревне не разгуляешься, – закончила она знающим бабьим голосом.

– В городе – тоже. – Голос у Аси был такой же знающий, взрослый... Бабий, словом.

Из палатки выглянул старший лейтенант, покашлял деликатно в кулак, но аэростатчицы кашля не услышали, и тогда он, помяв себе пальцами горло, рявкнул во всю командирскую мощь:

– Давайте-ка еще по стакану чая, девушки! Пока кипяток не остыл... Быстрее в палатку!

Бивак обустроивали как могли, сами. Раньше в аэростатных расчетах служило много мужчин. Но потом их перебрали на фронт, а в воздухоплавательные полки набрали женский персонал – в основном девушек.

Мужики остались только на командных должностях, да еще кое-где – увечные, пришедшие из госпиталей. А лопаты, чтобы вырыть землянку, подправить капонир или сгородить небольшой ледничок для продуктов, достались женщинам. Так что в девятом воздухоплавательном полку, которым командовал знаменитый полковник Бирнбаум, служили практически одни женщины – девяносто три процента. И старые были в этом полку, и молодые, и красавицы, и дурнушки, и известные, и никому не ведомые, – всякие, словом... Москву защищали все.

Территория, которую охранял полк, была огромная: крайние посты-расчеты располагались в двадцати семи километрах от Кремля, на берегу канала Москва – Волга, из которого столица забирала питьевую воду, и у окружной железной дороги.

А уже много позже, когда полки укрупнились, были преобразованы в дивизии в сорок третьем году (Москву тогда охраняли уже три дивизии), зона ответственности расширилась настолько, что начальник штаба любой из дивизий был готов поставить себе на письменный стол глобус...

Если рыть землянки приходилось долго, – каждая аэростатчица (солдат в юбке) должна была сломать пару лопат, чтобы соорудить теплое земляное помещение, – то ставить аэростаты на боевое дежурство старались быстро.

Оболочка наполнялась газом из газгольдера, распрямлялась, потихоньку приподнимаясь и заполняя пространство, а потом ползла в высь и удержать ее было невозможно.

Но хрупкие девушки удерживали – повисали на веревках, как на помочах, не давали аэростату вырваться из-под контроля, проходило совсем немного времени, и «воздушная колбаса» нацеливалась к облакам – надо было сторожить небо.

Ася Трубачева запустила мотор, дающий жизнь подъемному хозяйству, управлявшему тросом, и огромное, заставляющее людей изумленно раскрывать рты, очень своенравное туловище аэростата неуклюже поползло вверх, в воздух. За туловищем тянулся хвост – упругий стальной трос.

Для гитлеровских самолетов было опасно врезаться в перкалеву колбасу, но еще опаснее – в металлический канат.

Канат мог запросто отрезать у «юнкерса» крыло вместе с работающим мотором, и тогда немецкая машина вместе с экипажем и бомбовым грузом, воя надсадно, устремлялась вниз, к земле.

Редко какой «лаптежник» («юнкерсы» летали с растопыренными колесами шасси, будто были обуты в громоздкие неуклюжие лапти, потому их так и прозвали), мог уцелеть

после такого столкновения и благополучно совершить вынужденную посадку, – обычно превращался в грудку лома.

Сержант Телятников уже побывал на фронте, был ранен в грудь, в госпитале малость оклемался и очутился в девятом воздухоплавательном полку, поскольку имел родственную воинскую специальность – был наводчиком зенитной установки.

Был он высокий, улыбчивый, с добродушным усталым лицом, – в прошлом учитель истории, он словно бы на плечах своих держал все историческое прошлое примерно двух или трех сотен последних лет, хорошо знал старую поэзию и мог наизусть читать Тредиаковского и Державина, – в общем, интересный был человек.

Так вот этого интересного человека назначили командовать постом, а поскольку он имел еще и высшее образование, то Телятникову подчинили и подсобное хозяйство, возникшее на боевой точке – двух красноглазых крикливых куриц-хохлушек.

Словом, Телятникову еще надлежало и вести учет гастрономическим (или каким еще – кулинарным?) возможностям хохлушек.

Девушки подшучивали над сержантом:

– Уход за двумя курами равен обслуживанию четырех аэростатов, а это – лейтенантская должность. Пора товарищу Телятникову вместо трех треугольников украсить петлицы

двумя кубарями. Ну, в крайнем случае, хотя бы одним.

Для сведения: два кубаря в петлицах – это лейтенантское звание, один кубарь равен чину младшего лейтенанта, ну а треугольники носили, как мы уже знаем, сержанты...

На подшучивания Телятников не обижался, иногда отвечал какой-нибудь древней стихотворной строкой, иногда просто махал рукой – да ну вас всех, мол, иногда укоризненно качал головой, хотя мог наказать нарядом вне очереди.

А наряд вне очереди – это уборка нужника или чистка картошки на весь пост.

Те посты, в которых были мужчины, считались крепкими; случалось, сильный порыв ветра выдергивал веревки из девчоночьих рук и боевой агрегат поднимался на недосягаемую высоту, мужчина же не давал, чтобы это произошло, в крайнем случае, костями ложился, но старался одержать верх...

Ровно через неделю после новоселья, которое Галямов устроил для сто тринадцатого поста (добыл где-то вместо морковного чая две банки английского консервированного компота, и это стало для девушек праздником), в ночи вновь завывали сирены тревоги.

Одна из сирен стояла на крыше маленького заводика, а может быть, даже менее того – цеха, делавшего из проволоки гвозди. Располагался этот заводик в полукилометре от поста, попыхивал белым парком, неспешно вылетающим из тонкой железной трубы. Сирена завывала столь отчаянно, что на крыше заводика испуганно покосилась труба, да так и застыла,

целя теперь своим жерлом не в небо, а в два аэростата, прикрученных веревками к своему земному стойлу.

За семь часов до тревоги Телятников, покряхтывая по-старчески, хотя возраст имел еще не стариковский, расчехлил бухту троса, зацепил за литой завинчивающийся крюк и приказал Асе включить мотор.

Через минуту ожившая колбаса потащила трос в небо, на «боевую позицию».

Было холодно, хриплый северный ветер хоть и неопасным был, страха не внушал, но быстро заставил аэростатчиц застучать зубами; впрочем, на этот стук никто не обращал внимания, под эту производственную музыку было только веселее нести службу.

– Высота – четыре с половиной тысячи метров, – наконец объявила Ася, и Телятников, походив по площадке, подержав рукой звенящий трос, отправил девушек отдыхать в землянки:

– Идите, поспите пока, а там видно будет...

На площадке он оставил одну дежурную аэростатчицу с винтовкой – охрану. Ася вырубил мотор...

Когда заревели сирены тревоги, девушки поспешно вынеслись из нагретых землянок и заняли позиции, каждая свою. Дружно вытянули головы, вслушиваясь в звуки ночи, стараясь понять, где что происходит, где конкретно идут немецкие самолеты...

Сирена на заводской крыше еще продолжала выть, когда

по соседству громко захлопала зенитная установка, разламывая на ломти тяжелую ночную черноту своими дымными, мгновенно растворяющимися в воздухе струями. Облака, повисшие высоко, пытались растолкать лезвистые лучи прожекторов, способные резать не только кудрявую ватную плоть, но те словно бы окаменели, не сдвигались ни на метр, мертво припечатавшись к плоти неба.

– Девки, если уши ватой не заткнуть, то можно оглохнуть, – что было силы прокричала Тоня Репина, но ее никто не услышал, только соседка со странной фамилией Агагулина согласно склонила голову на плечо и тут же выпрямила: все-таки тут была воинская часть, а не ферма по выращиванию индюшек или звено по пропальванию грядок с огурцами какого-нибудь огородного хозяйства.

Недавно прибывшая в их часть Феня Непряхина сжалась в комок, готовая в любую минуту отпрыгнуть в сторону от летящей бомбы, либо вообще укрыться в землянке, чтобы не видеть ничего и не слышать никого и ее чтобы никто не видел и не слышал...

Зенитная установка, находившаяся неподалеку, внезапно замолкла – то ли боезапас кончился, то ли перегрелась, и неопытной Непряхиной сделалось еще страшнее: минуту назад она находилась под защитой этой грозной машины, а сейчас все – немцы начнут кидать бомбы прямо на головы девушек.

Лишь факт, что никто из девчонок не покинул площадку,

удержал Феню на месте: она находилась в гуще народа, и если уж придется ей умирать, то вместе со всеми, дружно, а смерть на миру, при людях, говорят, не так страшна, как в одиночку.

Непряхиной сделалось легче дышать, когда установка заработала вновь, а в черное небо понеслись рыжие, стреляющие искрами струи.

Единственный человек, который был спокоен в этом грехоте и чертенячьей круговерти, – Ася Трубачева, она зорко следила за растворяющимся в темноте тросом, вглядывалась в пространство, в высоту, – пробовала нащупать там громоздкое тело аэростата, и хотя в плотной черноте ничего не было видно, ей казалось, что она все-таки видит далеко-далеко тугое тело «воздушной колбасы».

Пальба зениток звучала не только рядом с Трубачевой и Непряхиной, она звучала всюду, ею было наполнено не только небо, но и земля, рот надо было открывать как можно чаще – по инструкции, – иначе могли лопнуть барабанные перепонки. Такое на фронте тоже случалось, артиллеристы часто делались глухими.

Иногда прожекторные полосы скрещивались в одной точке, нащупывали висящий в выси невесомый крест бомбардировщика, к двум световым лучам приплюсовывался третий, а потом и четвертый, и тогда стрельба зениток становилась прицельной.

Торжествующий крик поднимался над Москвой, ко-

гда легкий, страшновато-нереальный крест самолета вдруг вспыхивал, окутывался дымом и устремлялся вниз. Кричали все – и сами зенитчики, и дежурные, находившиеся на крышах домов, и посты наблюдения, и комендантские патрули, – словом все, кто обязан был оставаться под бомбежкой и имел возможность видеть, как полыхало небо и как работали зенитчики, летчики ПВО, аэростатчицы... Вопли восторга были адресованы всем им.

Уже начали стихать сирены, где-то был слышен сигнал отбоя, как на большой высоте, – на том уровне, где находился аэростат ста тринадцатого поста, – раздался сильный удар, сопровождаемый пронзительным скрежетом; удар был затяжной, словно бы огромная кувалда по тросу соскользнула вниз, следом по тросу соскользнул громкий железный визг, словно бы некое средневековое чудовище решило почистить себе зубы стальным канатом, а потом и сожрать его.

Непряхина сжалась еще больше, превращаясь в серого котенка, очень небольшого, тем, кто ее видел в эту минуту, не верилось, что человек способен мгновенно обращаться в неказистое домашнее животное.

С неба, из глубокой колодезной черноты вдруг принеслось что-то круглое, бесовское, тупо ударилось о землю метрах в пятидесяти от аэростата, подпрыгнуло, пытаясь вернуться в черную высь, но попытка успеха не принесла, и тогда неведомый предмет вновь всадился в землю.

Телятников, человек опытный, тут же сдернул с пугови-

цы телогрейки карманный фонарик, украшенный кожаной шлевкой, и, подпрыгнув обрадованно, побежал к предмету, прилетевшему с небес.

– Ах-х-ха-а! – закричал он, будто немой, у которого не было языка, издавать он мог только звуки, которые невозможно было оформить в слова. Посветил вокруг фонариком.

Фонарик был слабый, максимум что можно было им осветить – только собственные коленки во время посещения нужника, но другого источника света не было.

Подарок, принесшийся из ночи, оказался самолетным колесом с прикрепленным к нему полукруглым крылышком, колесо было срезано у «юнкерса» тросом их «колбасы» на хорошей высоте. Потому и удар был такой – затяжной, визгливый и сильный.

– Мы сбили «юнкерс», – наконец обрел способность складывать буквы в слова Телятников, заревел восторженно: – Мы сбили!.. – Далее все слова у него слились в сплошной ком, вновь перестали различаться.

Словно бы подтверждая его сообщение, в стороне от поста, – примерно в полукилометре, – раздергивая черноту ночи, в высь взлетела целая скирда пламени, рванулась к небу, но долго в воздухе не продержалась, а подброшенная внезапным взрывом, растеклась по пространству.

Тут и девчонки телятниковские поняли, что произошло, закричали голосисто:

– Ура-а-!

Событие для поста огромное – и не только для поста, но и для отряда, дивизиона, всего девятого полка, – завалить немецкий бомбардировщик! Ликование аэростатчиц докатилось до облаков, хотя и было оно недолгим, радость уступила место заботам; вот если бы в каждый вражеский налет укладывать на землю по одному «юнкерсу», тогда да, тогда можно ликовать.

Утром ходили смотреть сбитого немца. Тоня Репина жалась, подносила пальцы к носу:

– А вдруг там поджаренные, как мясо на костре, фрицы? А?

– Не бойся, дурочка, – сказала ей Трубачева, – если они превратились в жареное мясо, то их давно уже смолотили здешние голодные собаки. Пошли! Смелее, смелее!

Никаких жареных немцев в распластанном, разломанном бомбардировщике не было. Экипаж «юнкерса» выпрыгнул с парашютами и, как потом сообщили аэростатчицам, приземлился на крыше большого универмага, где и был благополучно повязан «тушильщиками зажигалок» местной противопожарной дружины, созданной еще в августе месяце на районном собрании партийцев и хозяйственных активистов.

От дружного крика «тушильщиков» «Хенде хох!» чуть не рухнула крыша у соседнего исторического здания. Там же, у дымовых труб, экипаж и повязали, хорошо, что не отправили сразу в преисподнюю, а могли и отправить – все основания

для этого имелись.

В Москве не было человека, который не посылал бы проклятий гитлеровским летчикам, хорошо, что в дружине «тушильщиков» нашлась одна здравая голова, воспротивившаяся расправе, – пленных сдали комендантскому патрулю...

Аэростатчицы в молчании обошли обнесенную веревкой площадку, на которой лежал разваленный на части бомбардировщик, ногами попинали обломки, а Тоня Репина, бесхитростная деревенская душа, не выдержала и по-простецки искренне пометила бывший самолет сочным плевком:

– Тьфу!

Дней отдыха, когда можно было почиститься, обрезать ножницами волосы, устроить постирушки, было мало, но в затяжную непогоду, в бураны, а иногда даже и в тихие дни, когда облака висели низко над землей (на всех полетах был поставлен крест и у нас, и у врагов, – летчики коротали время на аэродромах), Телятников давал послабление, приподнимал над головой правую руку с призывно вздернутым указательным пальцем:

– Девчонки, даю вам два часа времени на постирушки и наведение красоты. Чем красивее вы будете, тем это лучше для нас и хуже для врагов.

Ну какая красота может быть на войне? Слова командира поста вызывали у девушек невольную грусть, громкие голоса и смех стихали, раздавались вздохи: все это осталось в

прошлом, и неведомо, вернется ли когда? Кто знает, сколько еще будет длиться война?

Уж очень настырны и жестоки были гитлеровцы, уж слишком нагло они перли на русские города...

Так что печаль выпадала на постирушечные дни часто, может быть, даже чаще, чем в дни обычные, но девушки держались, не поддавались сумраку, случалось, что и песню какую-нибудь веселую затевали, – например, ту, что сошла в народ с экрана, соскользнула из фильма «Свинарка и пастух» в массы; песня эта нравилась всем, и старым и малым, и девушки понемногу отходили.

С зенитчиками, базировавшимися по соседству с подопечными старшего лейтенанта Галямова, сам Бог велел подружиться – одно ведь небо защищали все-таки, одно небо и один город...

У зенитчиков таких индивидуальных побед, как у аэростатчиц, не было, – по одной цели, нащупанной в черном ночном небе, обычно молотили около десятка зениток, надо было успеть всадить в бомбардировщик очередь и постараться завалить его, иначе он выскользнет из луча прожектора и уйдет.

Зенитчиками командовал подвижный, очень привлекательный капитан с длинной грузинской фамилией, наверняка какой-нибудь горский князь, – аэростатчицы, видя грузина, поглядывали на него с интересом.

Вечером седьмого ноября зенитчики пригласили соседок на праздничный чай. В рядах доблестных стражей неба оказался искусный кондитер, земляк командира, усатый и горбоносый, с животом, который не смог убрать с его тела даже фронт; капитан по своим грузинским каналам достал муки и немного сахара, и кондитер в честь праздника испек редкое по тем временам угощение – сладкие галеты. К чаю это было то самое, что может принести только очень галантный кавалер.

Вечер был такой, что небо не надо было закрывать аэростатами: уже почти сутки шел густой снег, прекратился он лишь днем и то ненадолго, а к вечеру зарядил снова, – лохматые белые хлопья валили сверху сплошной стеной.

Фрицы в такую погоду не то что на Москву не полетят, – под угрозой пистолета не сделают этого, они даже в туалет лишний раз не сходят – очень боятся русского снега, ветра и черных ночных звезд.

Зенитчики завели патефон. Пластинка у них была одна-единственная, уже здорово заезженная, больше лощеному капитану достать не удалось. На одной стороне пластинки была записана очень модная залихватская песня «У самовара я и моя Маша», на другой – сладкозвучная, «чувственная», как определила Тоня Репина, «В парке Чаир».

Под эту пластинку и танцевали в командирском помещении, где был накрыт стол и стоял чай со сладкими галетами. Грамотная москвичка Ася Трубачева заметила:

– Сладкие галеты не бывают. Галеты имеют нежный солоноватый вкус, так написано во всех без исключения энциклопедиях.

– Вовсе не обязательно, – парировал галантный грузин. – А потом, при социализме возможно все... Если хотите, после войны мы даже трактора будем выпускать с выхлопом, пахнущим одеколоном «Красная Москва».

– В войну, товарищ капитан, конструкторы вряд ли думают о тракторах, чей дым пахнет «шипром» или георгинами, – заметила Ася укоризненным тоном.

– Верно. Но война не век же будет гроыхать, товарищ Сталин верно сказал: «Наше дело правое, мы победим»... А это значит – война кончится, и мы для нашего общего счастья будем выпускать что хотим – трактора и грузовики, пахнущие сиренью, костюмы из шерсти, которая никогда не мнется, электролампочки со сроком службы в десять лет, волшебную посуду, способную по нажиму кнопки почистить картошку, вымыть вилок капусты, порезать морковку и лук и сварить без помощи человека роскошный борщ либо харчо с бараниной... Или же уху с севрюгой. Все это будет, милая девушка.

В ответ на это Ася неопределенно покачала головой. Непонятно было, то ли согласна она с капитаном, то ли нет: умной Асе было понятно, что разговор может зайти в опасное пространство... Стоит только произнести одно неверное слово, как утром на позицию аэростатчиц заявятся люди в

фуражках с голубыми околышами. И вообще она знала то, чего не знали, например, Тоня Репина и Феня Непряхина и, может быть, не знал даже сам капитан...

Щемяще-сладкая песня «В парке Чаир» зазвучала вновь.

Капитан пригласил на танец Асю. Трубачева танцевала легко, в школе она занималась в балетном кружке и вообще собиралась поступать в балетное училище, но танцевальная судьба у нее не сложилась – по возрасту: в училище надо было поступать на несколько лет раньше... Грузин тоже танцевал легко, но не всегда впопад – путал танго с лезгинкой или с какой-то незнакомой кадрилию, проявлял горский характер, словом.

Как бы там ни было, всех, кто находился в командирском помещении зенитчиков, подчинило себе захватывающе-легкое, как в мирные годы, веселье, даже праздником, несмотря на войну и непогоду, смешавшую небо с землей, стало пахнуть. К Тоне Репиной, переваливаясь с боку набок, косолапо, приблизился довольно симпатичный парень с цепкими темными глазами и предложил вполне по-светски:

– Разрешите на танец!

Тоня расцвела: к ней никто в жизни так еще не обращался. Этот зенитчик хоть и косолап был, в плечах широк, что замедляло его движения, когда он разворачивался в танце, – Тоне вообще показалось, что она слышит, как скрипят его кости, – но с задачей своей танцорской справлялся. Словом, парень этот походил на медведя и, наверное, как и медведь,

был силен и ловок на своей службе.

– Вы, наверное, из Сибири? – предположила Тоня, стараясь особо не прижиматься к партнеру, хотя тот старался притиснуть ее к себе.

– Откуда узнали? – удивился медведь, показав крепкие, желтоватые от махорки зубы.

– Вы такой сильный, основательный, – Тоня углом приподняла плечи, – надежный. Такие люди, мне кажется, только в Сибири и живут.

– Верно, – произнес зенитчик обрадованно, – я оттуда, из Сибири, – скрипнув плечами, развернулся с изящностью платяного шкафа, – из-под Красноярска. Народ у нас, вы правы, живет надежный.

Конец пластинки с двумя драгоценными мелодиями был исцарапан, к чарующим звукам музыки примешался хрип, – танец завершился и уже почти сошел на нет, но сибиряк успел спросить у партнерши:

– Как вас зовут?

Хрип стих и музыка стихла, Тоня, подумав, что надо быть очень благодарной Асе Трубачевой, тому, что научила ее танцевать, чуть присела, поклонилась партнеру. Проговорила негромко:

– Зовут меня как? Очень просто зовут. Антонина Ивановна я!

Капитан подошел к патефону, накрутил рукоять завода до отказа и в помещении, совсем не похожем на помещение во-

инской части, вновь зазвучала щемяще-сладкая довоенная мелодия. Начало пластинки не было исцарапано, иголка шла ровно, никакого хрипа не было, хрип появлялся только в конце танца.

Зенитный капитан вновь пригласил Асю.

Честно говоря, Асе он не нравился: если приглядеться к капитану внимательнее, то можно было обнаружить некие грубоватые черты, которые то возникали в его облике, то пропадали. Все дело было в лице капитана, на котором внезапно возникали две резкие складки, уходили от крыльев носа вниз, к уголкам рта, они готовы были уйти еще дальше, к краю нижней челюсти, но что-то задерживало их.

Лицо капитана мигом делалось жестким, как у кондотьера на скульптуре Верроккьо, выставленной в музее на Волхонке.

Через несколько мгновений складки пропадали, и лицо капитана обретало довольно мирное выражение.

Непонятно было, почему происходила такая неуправляемая смена выражений лица. То ли ранен был зенитчик где-то в боях, то ли контужен, то ли перенес некую инфекционную хворь, – в общем, что-то было... Ася Трубачева вновь пошла танцевать с капитаном.

А к Тоне Репиной опять подкатился, смешно выворачивая ступни ног, «сибиряк из-под Красноярска», поклонился жеманно, – в этом отношении они с Тоней были достойны друг друга, – произнес на сей раз просто:

– Пойдемте.

– Пойдемте, – тут же согласилась Тоня, в сибиряке она видела надежного, крепко стоящего на ногах мужика, за таких бабы в деревнях хватаются обеими руками, потому как знают: в будущем может пригодиться.

– А вас как величают? – спросила Тоня сибиряка.

– Имя у меня редкое, старинное. – Лицо сибиряка раздвинулось, в нем, кажется, каждая мышца, каждая морщинка сейчас были подчинены улыбке, каждая выполняла свою роль. – Вы даже не поверите... Зовут меня Савелием.

– Очень хорошее имя, – не замедлила отозваться Тоня. – Со мной в школе учился один мальчишка, его тоже звали Савелием.

Популярная песня «В парке Чаир» имела один серьезный недостаток – слишком быстро заканчивалась. То же самое произошло и на этот раз.

Зенитный капитан с невозмутимым видом подошел к патефону, снова до отказа накрутил пружину и вновь опустил головку с успевшей затупиться иглой на ломкое поле пластинки.

«Парк Чаир... Интересно, где это находится? В Сочи, в Крыму или в какой-нибудь далекой Испании?» Ася не знала этого и через несколько секунд забыла о географии с ботаникой, капитан опять взял ее за руку и щелкнул каблуками сапог.

– А отец у вас, Савелий, кто? – продолжала расспрашивать

своего партнера Тоня Репина.

– Отец? – Савелий улыбнулся широко, по-доброму – Тонин вопрос вызвал в нем теплые воспоминания: отца он любил, хотя... хотя всякое бывало между ним и отцом, и об этом распространяться не стоило. – Отец у меня очень рабочий человек.

– В колхозе работает?

– И в колхозе тоже. Делать умеет все – и рожь посеять, и трактор починить, и ребенка перепеленать...

Больше об отце своем Савелий не стал говорить. На старости лет отец его Тимофей Агафонов пошел в священники, стал настоятелем сельского храма. Как только это произошло, сына его, комсомольца Савелия Агафопова, вызвал к себе председатель сельсовета. В комнате у него сидел незнакомый человек в плотном пиджаке, застегнутом на все пуговицы.

– До тебя товарищ, – сказал председатель сельсовета и подбородком повел в сторону незнакомого гостя.

Тот холодно и спокойно осмотрел комсомольца и неожиданно велел Савелию отречься от отца.

Савелий опешил.

– Как это?

– А так. Иначе у тебя все пути-дороги вперед будут перекрыты. Чего тут непонятного?

– Отец все ж таки...

– Не отец, а служитель культа. Сеет дурман, опиумом на-

зывается, дурит головы сельскому народу. Ты поторопись, парень, иначе отречься поздно будет. Сегодня же вечером напиши об этом заметку и утром отвези в районную газету.

Савелий заметку написал, районка ее опубликовала. Под заголовком «Отрекаюсь от такого отца!»

Когда газета вышла, Савелий ощутил, что он неожиданно стал больным, у него начало щемить, сочиться болью сердце, перед глазами поплыли, растекаясь по воздуху, дымные оранжевые круги, – и он понял наконец, что совершил. Схватил себя за волосы, взвыл, но было поздно.

Как выйти из этого положения, Савелий Агафонов не знал. В сороковом году его взяли в армию, он участвовал в присоединении части бессарабских земель к Советскому Союзу, проявил себя умелым воином, был представлен к главной солдатской медали «За отвагу», но вместо почетной награды получил кукиш.

Не помогло даже то, что он предал отца и отрекся от него публично – получить медаль помешал факт, что в семье его есть священник... Ну как будто бы бывший семинарист Сталин не имел никакого отношения к церкви. Но, оказывается, Сталину можно, а ефрейтору Красной армии, отличившемуся в боях, нельзя...

А как же разговоры, которые ведут по радио, на страницах газет, как же с накачкой, которую ежедневно делают политруки в частях: в Стране Советов все равны и все имеют одинаковые возможности стать великими? Не состыковыва-

ется тут что-то...

Савелия, как поповского сына, исключили из комсомола, но, с другой стороны, повысили в звании – он стал ефрейтором. Хотя что такое ефрейтор? Это тот же красноармеец, только старший.

Ум у Савелия Агафонова был цепкий, по деревенским меркам очень развитый, и перечеркивать свою жизнь он никак не собирался. Но вот какая штука: человек предполагает, а Бог располагает – ходу-то дальше у него нет, его потолок – ефрейтор, – уже достигнут.

Это Савелия никак не устраивало.

По ночам он просыпался и долго лежал в темноте с открытыми глазами, думал о себе, об отце, ежился, словно от холода, вспоминая жизнь деревенскую и расстроено ощущал, как у него щиплет глаза.

«Вот мы отступили, – металась у него в голове воспаленная мысль, – а почему, спрашивается, отступили? А? Ведь большинство бойцов в Красной армии – крестьяне, кто как не они, должны защищать землю, которую обрабатывают, не отдавать ее немцу, но отдали ведь, отдали... Почти до самой Москвы отдали – гигантскую территорию, – немец, как написали в дивизионке, уже Истру занял, скоро, наверное, до Химок докатится, – Савелий, как грамотный боец, дивизионную газету читал регулярно, – вот такая канделяшка выпала на нашу долю... А потому Красная армия откатывается, что в нашей стране крестьяне лишены личного хозяйства,

земли собственной, им нечего защищать... Вот они и сдаются целыми толпами в плен».

Грустные были эти мысли, иногда Савелий не засыпал до самого утра, до подъема, вставал на утреннюю переключку с больной головой и красными невыспавшимися глазами. Это было хуже, чем всю ночь пробить на дежурстве где-нибудь на крыше дома у метро «Маяковская» около находящейся в боевой готовности спаренной зенитной установки и бесцельно всматриваться в пустое небо.

Такие дежурства изматывали Агафонова, он делался мрачным, неразговорчивым, а, отдежурив, не сразу приходил в себя.

Писем из дома почти не было, семья из-за того, что Савелий отказался от отца, раскололась.

В общем, непросто жилось ефрейтору Агафонову на белом свете и еще более непросто служилось в Красной армии...

Вон куда занесло его от простого вопроса аэростатчицы Тони об отце. Пластинка тем временем начала похрипывать простудно, затем раздалась скрипы – танец кончился.

– Извините, – сказал зенитный капитан Асе Трубачевой и поспешно подскочил к патефону, начал энергично накручивать рукоять завода.

Через полминуты вновь зазвучала щемящая, трогающая душу мелодия «В парке Чаир», – очень сладкая, такая сладкая мелодия, что хоть чай без сахара пей.

Зимой дежурить на аэростатных площадках было легче, чем осенью, – темные, забитые снегом ветренные дни следовали один за другим, ветры утюжили землю, вгоняли в душу, в голову недобрые мысли – слишком уж близко подошли немцы к Москве, но продержались они на позициях, с которых в бинокль можно было рассмотреть макушки кремлевских башен, недолго.

С Дальнего Востока, с маньчжурской границы подоспели сибиряки и так вломили фрицам, что те охнуть не успели, как уже очутились около города Калинина, а немного спустя и за городом Калинином, на линии обороны, которую они организовали крайне спешно и, честно говоря, не думали на ней устоять...

Но и у наших войск уже не было сил наступать дальше, нужно было перегруппироваться, пополниться людьми и техникой, починить то «железо», которое имелось в войсках, перевести дыхание и уж потом двигаться дальше.

В девятом воздухоплавательном полку, хоть он и не участвовал в боях, тоже совершились кое-какие подвижки. Во-первых, добавили людей – женщин и, увы, только женщин; мужчин готовы были отнять последних и отправить на передовую – там не хватало солдат; во-вторых, добавили около сотни новых аэростатов, поступивших прямо с завода. Метеорологи предупредили, что к Москве подползает хорошая погода, а это означает: Геринг со своими стервятниками из

люфтваффе вновь заполонит небо и навалится на город.

На сто тринадцатый пост прибыли двое новичков: одна – золотоволосая, яркая, с точеными чертами лица Ксения Лазарева, у которой под Калинином погиб муж-майор, и она пошла в армию мстить за него, вторая – Клава Касьянова, совсем еще девчонка. Клава успела окончить школу и тут же выскочила замуж за своего одноклассника, веселого парня-гитариста, которого все, даже чопорный, сухой, как жердь, историк звали по-домашнему Димкой. Через полмесяца после объявления войны Димка с ополчением ушел на фронт, и спустя три дня его не стало – погиб в первом же бою, даже не успев понять, хотя бы приблизительно, что такое фронт... Клава тоже пришла в армию мстить за своего юного мужа.

Когда она вспоминала своего Димку, то не могла сдерживать слез, сколько ни промокала их платком, ни стирала их пальцами и ладонями, они все текли и текли, горькие, частые, нос у девушки распухал, будто она ударилась обо что-то, глаза делались маленькими и слепыми...

Шли дни. Непохожие друг на друга, просквоженные насквозь ветром, очень холодные и тревожные. Хотя массовых налетов на Москву, какие бывали в августе и ранней осенью, не ожидалось, аэростаты с боевых дежурств не снимали.

Дежурили усеченным составом, располагая «воздушные колбасы» на точках, просчитанных заранее аналитиками из разведки. Те, кто командовал обороной города, старались пе-

рекрывать важные направления, выводящие к заводам, которые не были эвакуированы на Урал и в Сибирь, к военным штабам, к историческим, важным для биографии страны зданиям, без которых и прошлого своего нельзя было представить.

За небом следили девчонки с многочисленных НП – наблюдательных постов, те мерзли жутко, иногда даже зубами стучали о телефонные трубки от холода, но все данные ежедневно передавали на взводные посты, взводные же телефонировали ротным и так далее – до главного поста обороны. И если где-то возникала опасность, небо немедленно перекрывали аэростатами.

Перетаскивать аэростаты на новые точки было трудно, катастрофически не хватало мужчин, но где их взять, когда все они находятся в окопах, ведут позиционные бои в Калининской области, под Тулой, на землях орловской и ярославской, в других местах.

Мужчин на сто тринадцатом посту было ноль целых, ноль десятых – кот, в общем, наплакал, а может, еще меньше, – только сержант Телятников и все. Ведь к аэростату не поставишь Галямова, он – командир отряда. Оставалось только рассчитывать на девушек, особенно на тех, кто покрепче, таких, как Тоня Репина.

Сильной была и Ася Трубачева, но у нее свое дело имелось, очень хлопотное: она была лебедочным мотористом. Тренированной спортсменкой, как выяснилось, оказалась и

золотоволосая Ксения Лазарева...

В январе – феврале метеорологи предсказали ветреную погоду. А ветер в морозную пору – это добавляй, как минимум, еще десять градусов холода, если не больше.

Причем московские ветры, с точки зрения аэростатного бивака, обладали крутым степным характером, – налетали внезапно, закручивали снег в высокие гибельные столбы, способные просверлить большой свищ в любой твердой плоти, иногда переворачивали автомобили, даже воинские.

Аэростат, конечно, лучше перемещать на любую другую точку в свернутом состоянии, но для этого из него надо спустить летучий газ, а газ – водород – вещь, во-первых, дорогая, а во-вторых, доставлять его на пост непросто: надо пешком одолеть тридцать четыре километра до завода, расположенного на станции Долгопрудная, а потом тридцать четыре километра с полными газгольдерами, – емкостями для хранения водорода, топать обратно.

А тащить эти емкости – штука очень непростая, газгольдеры плывут по воздуху, словно гигантские оболочки от домашней колбасы (если заполнить их мясной смесью, то в каждую оболочку войдет, наверное, тонны две, не меньше); когда ветра нет, тащить нетрудно, но если внезапно поднимется ветродуй, то работа мигом делается и опасной, и тяжелой... Газгольдер может и руки вывернуть, и увечье нанести, и даже убить.

Новая точка для аэростата была намечена в полукилометре от теплых, уже обихоженных землянок поста. День выдался хоть и мрачный, но тихий, на деревьях серели нахохлившиеся вороны – бомбежки они ощущали нутром, чувствовали загодя, словно бы имели собачий нюх, и исчезали из города, – вполне возможно, переселялись куда-нибудь в зеленые леса и зоны типа парка Горького или Серебряного бора, куда немецкие бомбы падали редко, забирались там в глухие углы, подбирали подбитых морозом воробьев, пережидали худую пору.

Когда ожидались бомбежки, вороны исчезали за пару дней до них – не найти, если же появлялись, – бомбежки затихали тут же, этот факт можно было даже не проверять.

Сейчас вороны появились, заняли свои позиции на ветках, поглядывали сердито на людей, словно бы спросить хотели: и чего нейметса этим двуногим, чего войну затеяли?

Аэростат в полузаполненном состоянии волокли по воздуху на веревках, прозванных спусками, на конце которых были завязаны петли. Хоть это и противоречило правилам техники безопасности (петля могла подхватить человека за ногу и уволочь в небо), но не возбранялось, командиры и инженеры закрывали на эту техническую мелочь глаза.

Мужчин на посту не было, Телятникова вызвали в штаб дивизиона, к политруку – тот вознамерился снабдить народ последней политической информацией и вручить в руки пару ценных брошюр, – приказ надо было выполнять, и поэто-

му Трубачева, оставшаяся за старшую, решила, что девушки справятся с воздушной колбасой и без мужчин. Мужчины – не боги, а такие же земные люди, как и женщины, и женщины могут с успехом подменять их и на тяжелых работах.

Огромный аэростат неспешно плыл в воздухе невысоко над землей, вел себя спокойно, – ничего не предвещало приключений, так что Ася могла быть довольна: приказ они выполнят на пять баллов, в крайнем случае, – на четыре.

Она даже остановок на короткий отдых, чтобы переменить уставшие руки, не делала. На ходу рассказала последнюю новость, – местную, в тему.

Километрах в десяти от поста располагалось большое подсобное хозяйство, так несколько баб на трех санях поехали за сеном для коров.

Откуда ни возьмись, появился одинокий «юнкерс», – как потом выяснилось, разведчик. «Лаптежник» этот был снабжен специальной аппаратурой для разведки с воздуха и вообще здорово отличался от обычных серийных «юнкерсов».

Засек немец несколько саней с бабами и, сделав боевой разворот, полоснул сверху трассирующей пулеметной очередью. Женщины врассыпную прыснули в разные стороны вместе с лошадьми и санями, – прямо по снеговой целине, не боясь утонуть в ней. Пулеметные очереди были страшнее глубокого снега.

Слава богу, стрелок с «юнкерса» никого не задел, самолет взвыл нехорошо, будто обиделся на баб – как это так, никого

не сумел уложить, только одни сани зацепил, да и то малость, лишь пулями отрубил задки полозьев, – и пошел на второй разворот.

Но пилот, сидевший за штурвалом, не рассчитал, разворот нарисовал слишком вольный, широкий и попал в зону огня расположенного неподалеку зенитного поста.

Зенитчики не упустили своего шанса, из спаренного пулемета завалили «лаптежника», – он плюхнулся брюхом в снег, проделав в нем длинный рваный коридор, и экипаж, боясь, что машина взорвется, поспешно вывалился из кабины с поднятыми вверх руками, хотя никого, кто мог бы взять немцев в плен, рядом не было: ни зенитчиков с винтовками, ни баб с санями – люди появились только через десять минут.

– Немцы живые остались, Ась? – спросила обычно молчаливая, не принимавшая участия в разговорах Агагулина. Снег резко, будто крошеное стекло скрипел у нее под подошвами сапог.

– Не только живые – даже не поцарапанные.

В это время с макушек недалеких деревьев посыпался мелкий, с ледяными блестками иней, где-то вверху, много выше деревьев, в серой вате пространства раздался хриплый вой, Трубачева мигом сообразила, что это за звук и что за ним последует, встревоженно прокричала:

– Держите крепче аэростат!

Пугливая Феня Непряхина поспешно намотала на обе ру-

ки веревку и, приседая на ходу, пискнула зажато:

– Ой, бабоньки!

Слово «бабоньки» городская жительница Трубачева никогда бы не произнесла, – не из городского это лексикона. Ася успела об этом подумать, но в следующий миг у нее все вылетело из головы – веревку вдруг рвануло из рук, потянуло вверх. Ася, как и Непряхина, присела на ходу, окорачивая колбасу...

Хорошо, что на конце спуска была завязана прочная петля... Колбасу удалось удержать.

Не хватает в расчете Телятникова, сильного мужика, очень не хватает, – был бы он, капризная колбаса не вела бы себя так вольно.

Сверху, из пространства, снова посыпалась снежная крошка, белая хрустящая пыль, раздался визгливый хрип ветра. Трубачева, хватаясь за веревку обеими руками, выкрикнула вторично, – поморщилась от собственного крика и внезапно возникшей в ней холодной боли:

– Держите аэростат! – Присела привычно, всем телом натягивая веревку, прибывая колбасу к земле; колбасе это дело не понравилось, подбитая ветром, она снова рванула веревки на себя, выдирая их из девчоночьих рук, но ничего у нее не получилось, руки хоть и слабые были, но удержали норовистый аэростат.

Ветер дул девушкам в лицо, и это было плохо, если бы он дул сбоку слева или справа, было бы лучше, там на пути

у ветра вставали деревья, впереди же деревьев не было, – значит, и защиты никакой не было.

Ася легла на веревку почти плашмя, распласталась в воздухе, ветер рванул колбасу изо всех сил, – Асе показалось, что веревка сейчас лопнет, взовьется разматывающимся, разбрызгивающим волокнистые нитяные обрывки концом к перкалевой колбасе, и тогда все, аэростат погибнет, а младший сержант Трубачева пойдет под трибунал...

В следующее мгновение Ася увидела над собой тощие ноги в двойных нитяных чулках, обутые в сапоги, засекала, что тяжелые кирзачи поползли со слабых ног вниз, услышала крик, – это кричала Феня Непряхина, только у нее мог быть такой тонкий тщедушный голос. Ася чуть было не вскинулась, чтобы ухватить Фенины ноги за лодыжки, иначе ведь колбаса уволокет девчонку на небеса, но бросать свою веревку было нельзя... Ни на одно мгновение нельзя.

Трубачева вновь присела, стараясь прижаться к земле, распластаться на ней, но сделать это не удалось, аэростат вновь рванулся в небо, и Ася, словно бы пугая, окорачивая его, закричала.

Собственный крик едва не вывернул ее наизнанку. Она готова была вцепиться зубами в стоптанный Фенин сапог, лишь бы Феня нырнула вниз, к земле, встала своими кирзачами на надежную твердь, не унеслась бы в небо.

А сапоги Фенины уже заскребли ободранными носами по покатоному боку колбасы, – Непряхина не сдавалась, не отпус-

кала веревку, цеплялась за петлю, продолжала бороться, – затем сапоги Фенины по косо́й поползли вбок, словно бы веревку подцепил невидимый крюк и поволок в сторону... Это что, судьба решила поиздеваться над человеком? Или это только кажется Трубачевой?

Она стиснула зубы, навалилась на веревку, подтягивая ее к земле, вновь прокричала что-то невнятное, но девушки, несмотря на смятость слов, поняли ее, они действовали единым целым...

«Воздушная колбаса» изогнулась, припадая тупым перкалевым носом к снегу, и тут в десяти шагах от аэростатчиц остановилась передвижная зенитная установка – загнанная полуторка с надорванным голосом и смонтированным в кузове двуствольным длиннорылым пулеметом. Из кабины выпрыгнули двое мужиков в телогрейках и бросились на помощь к девушкам.

Один из них, дюжий, с чисто выбритыми красными щеками, схватился за веревку, с которой тщетно боролась Ася, второй подпрыгнул, пытаясь дотянуться до Фени, которая не сдавалась, – ни первая попытка, ни вторая удачи не принесли, и тогда он, крикнув с досадою, вцепился в конец, удерживаемый новенькой, – вдовой майора Ксенией Лазаревой, зарычал, стараясь преодолеть сопротивление веревки, закашлялся, выбухивая в морозный воздух клубы пара...

Похоже, что именно его рычание помогло команде аэростата: колбаса смирилась, потихоньку стала поддаваться...

У Фени Непряхиной оказались повреждены два пальца на правой руке, – веревку она так и не выпустила, хотя уже теряла сознание и держалась на последнем дыхании.

Непряхину отправили в госпиталь...

У аэростатчиц состоялась еще одна встреча с соседями-зенитчиками: война войною, а жизнь жизнью.

Опять были танцы, хотя репертуар заезженного патефона зенитчики постарались расширить, – достали еще одну пластинку с чарующим голосом Вадима Козина и его знаменитой песней «Земля и небо».

Савелий на танцах не отходил от Тони Репиной, и это Тоне очень нравилось. От волнения, внезапно охватившего ее, она в танце даже закрывала глаза и переносилась из скудной обстановки этого помещения в свою родную деревню, к речке, побренькивающей под горой на перекатах быстрым течением, к лугам, полным цветов, птиц, бабочек, всякой райской звени, рождавшей в душе восторженную оторопь, – на раскрасневшемся Тонином лице возникала обрадованная улыбка, танцевальные шаги замирали, становились медленными, и Савелий недоуменно вскидывал голову, взгляд его делался вопросительным: что-то случилось? Или нет?

Проходило совсем немного времени, и пластинка затихала с сиплыми вздохами сожаления, пары неловко шоркали ногами, словно бы ощущали вину за музыку, так быстро угасшую.

– Вам нравится здесь? – аккуратно, приглушенным шепотом поинтересовался Савелий.

Тоня открыла глаза и произнесла таким же тихим, почти сведенным на нет шепотом:

– Очень. Я почему-то деревню свою вспомнила...

– Я тоже, – признался Савелий. – У нас деревень мало, все больше станции – населенные пункты строили вдоль железной дороги и почтовых трактов, в глубину не забирались, вот и получилось в результате, что каждая деревня – это станция, где и трактир есть, и постоялый двор коек на пять-шесть, а то и десять, и хлебная лавка.

– У нас тоже была хлебная лавка, в ней конфетами-подушечками торговали, еще пряники в ней были, очень сладкие.

– Медовые, – добавил Савелий неожиданно.

– Медовые, – подтвердила Тоня.

Неожиданно за стенкой помещения послышался ржавый скрипучий звук, закончившийся громким хлопком, хлопок мгновенно набрал скорость и перерос в вой, вышибающий на коже муравьиную сыпь.

По соседству с зенитчиками, на крыше донельзя закопченного промышленного цеха стояла сирена, какая-то чумная – то ли допотопная, времен царя Гороха, то ли ненашенская, заморская, по чужим стандартам сработанная, с голосом, совсем не похожим на голоса наших сирен... Нервная, в общем, сирена, может быть, даже и дырявая.

Внезапно появился грузин-капитан, стремительным дви-

жением сдернул с пластинки головку патефона, гаркнул так, что голосом своим перебил вой сирены:

– Тревога!

Через мгновение чемоданчик с патефоном был уложен, застегнут на замок и засунут под тщательно заправленную койку, на всякий случай установленную в помещении для дежурного по зенитному подразделению, – ничто уже не напоминало о веселии, еще три минуты назад бывшем здесь.

И аэростатчиц уже не было, – тревога касалась и их, – они мгновенно выпали из танцевального круга и исчезли. Раскрасневшаяся Тоня Репина даже не успела махнуть ладошкой разлюбозному Савелию, как оказалась на улице, в сухом морозном пространстве, плотно набитом мелким жестким снегом. Хороший хозяин в такую погоду даже собаку старается в доме на подстилку определить, чтобы та отдышалась и согрелась, не страдала от холода, а девушкам надлежало быть на улице, у своего боевого снаряда – аэростата.

А диковинная сирена продолжала реветь и сотрясать морозный воздух, и редела не только она одна.

Как потом выяснилось, немцы придумали новый способ уничтожения русских аэростатов – решили бомбить их сверху с самолетов, но способ этот оказался гнилым, и фюрер люфтваффе Геринг остался с носом, – ни один аэростат не пострадал, бомбы благополучно промахнули мимо и свалились на землю, и ничего, кроме обычного фейерверка, из этой затеи не вышло.

Зимой воздухоплавательные полки, – оба, первый и девятый, – поднимали свои аэростаты на высоту четыре с половиной тысячи метров, летом добавляли пятьсот метров, получало пять километров, – немцы же забирались еще выше и пробовали совершить прицельное бомбометание.

Увы, бомбы пролетели, ни за что не зацепившись, но от затеи своей немцы не отказались и долго еще лелеяли надежду: а вдруг аэростаты удастся смахнуть с неба одной острой косой? Срежут их широким движением и в освободившееся пространство пустят свои бомбардировщики... Геринг считал прицельное бомбометание косой умной, но это было не так: ошибался авиационный фюрер, бывший во время Первой мировой войны лучшим пилотом Германии, но ожирел он, пребывая на земле, и мозги у него тоже ожирели.

Ни одна из попыток сжечь аэростаты в небе успеха не принесла.

Позднее, уже в сорок третьем году, воздухоплавательные полки укрупнились, преобразовались в дивизии: девушки-аэростатчицы доказали, что они необходимы Москве, как воздух, вода и здоровый сон, а здоровый сон только войска ПВО и могли обеспечить... Дивизий было три – Первая, Вторая и Третья, – оберегали они Белокаменную от всяких случайностей до самого конца войны, – уже и акт о капитуляции был подписан, а три боевые дивизии продолжали нести свою боевую вахту.

Один из лучших полков, – девятый, о жизни которого

идет речь в повествовании, – входил в состав Второй дивизии, охранял полк (в числе прочих объектов) Кремль и канал Москва – Волга, питавший питьевой водой столицу, выносные посты его находились очень далеко, в трех десятках километров от штаба...

Аэростатчица Тоня Репина запала в душу Савелия серьезно и глубоко, так глубоко, что он даже по ночам стал ворочаться – просыпался и думал о ней, больше ни о ком не думал...

Из Тони могла получиться хорошая хозяйка, у которой и дом будет блестеть, и ребятишки вымыты, и скотина накормлена, и печь протоплена в меру – без недогрева и перегрева, и овощные продукты, которые очень любил Савелий, сохранены свежими и живыми до весны: в любую минуту картошку можно кинуть на сковородку и зажарить, запить ее шипучим квасом, сваренным из хрена и лесных корешков, и заесть тугой хрустящей морковкой.

Когда состоится следующая встреча соседей и аэростатчицы, будто бабочки, прилетят на патефонную музыку зенитчиков, Савелий не знал и, надо заметить, вопрос этот его волновал.

Впрочем, кроме службы на зенитных точках у Савелия были кое-какие другие заботы, очень серьезные, и они беспокоили образцового ефрейтора, – а Савелий был именно образцовым ефрейтором. В части его ценили, хотя из-за то-

го, что два с половиной года назад мимо него пролетела медаль, к которой его представляли, Савелия к высоким наградам больше не представляли. Опасались: а вдруг кто-нибудь наверху погрозит пальцем и скажет: «Низ-зя!»

Низ-зя, так низ-зя, поэтому Савелий и куковал в небытии.

То, что он не получил медаль, – это унижение, то, что власти отчитали его, как мальчишку за отца и заставили отказаться от родителя – унижение, исключение из комсомола – тоже унижение (великое, причем оставившее кляксу в биографии), то, что держат здесь, в тылу и не пускают на передовую, – унижение... И так далее.

Унижений было много, и Савелий решил: за них должен кто-то ответить. Только вот кто? Имя его, фамилия? Сомнений у Савелия не было – должен ответить... Сталин. Сам. Лично. И начал Савелий Агафонов готовиться к ответственной акции.

А Тоня Репина все не выходила у него из головы. Савелий маялся, часто просыпался по ночам, стонал, кряхтел, выбирался на улицу, чтобы в спальном помещении не было дымного угара, – сжигал самокрутку до корешка, до самых пальцев, остатки табака, совсем малые, крохотные, можно сказать, ссыпал в отдельный кисет, – табак он экономил.

Ситуация была такая, что табачок или папиросы нигде не купишь, – ни в одном магазине не продадут, увы, – поэтому Савелий и был столь экономен. Как, собственно, и большинство солдат зенитного полка.

После затяжных метелей, могучих выбросов снега, лютых ветров, в течение часа способных дуть в семи разных направлениях, меняя их в течение нескольких минут, вдруг наступила тревожная тишина, небо приподнялось, и в прорехах между облаками вдруг засветилась призывная синь, воздух очистился, и люди увидели солнце.

Вначале солнце осторожно прощупало лучами пространство, коснулось макушек зданий и деревьев, потрогало их, словно бы в чем-то сомневалось, потом решительно раздвинуло ватный полог облаков.

При виде солнца у людей даже лица изменились, сделались расстроенными, какими-то детскими, из них исчезла настороженность, – ну словно бы войны не стало...

А вот для воздухоплавательных полков и для зенитных расчетов ясная погода была испытанием, в ясную погоду обязательно появлялись незваные гости: набитые опасным грузом бомбардировщики.

Зенитный полк ПВО, в котором служил ефрейтор Агафонов, имел полсотни точек в Москве, где располагались боевые установки, – и пулеметы были там, и орудия, – имел такие же точки и за городом, поэтому зенитчикам всегда надо было быть готовыми к перемещениям. Пост на крыше дома возле метро «Маяковская» стал, например, для Савелия таким же обжитым, как и спальное помещение в полку, – ну чуть ли не родным. Вот если бы еще недалеко от «Маяков-

ской» находились биваки с аэростатами и девичьей командой – было бы совсем хорошо.

А в команде той свое солнышко – Антонина свет Репина. Савелий не удержался, губы его расплылись в расслабленной, неожиданно сделавшейся робкой улыбке.

Вечером его направили дежурить на пост, расположенный около метро «Маяковская»; тут, на плоской верхушке дома, ему все было знакомо – каждая деталь, каждый костыль, вбитый в кровлю, каждый гвоздь и каждая нашлапка битума, предохраняющая дом от протечек, – все это, как и Тоня, могло сниться ему во сне... А вообще, если ветер будет сдувать с крыши, тут есть, за что зацепиться.

Пулеметная установка была расчехлена, – в любую секунду можно было открывать стрельбу; вторым номером у Савелия был также ефрейтор, которого Агафонов знал еще по тяжелой московской осени сорок первого года, – Очеретин, малый смысленый, с лицом, покрытым ожоговыми пятнами, полученными в боях под Истрой.

– Проверь технику, – приказал ему Савелий, сам прошел к одному краю крыши, потом к другому, осмотрел, что находится внизу, – ему важно было лишний раз понять, куда, в крайнем случае, может дотянуться пулеметная очередь, если придется стрелять по наземным целям...

Делал он это без особых прикидок на будущее, хотя почти все увиденное откладывал в памяти. Савелий знал, что каждый год, несмотря ни на что, седьмого ноября и первого мая

Сталин появляется в концертном зале имени Чайковского на праздничном мероприятии, и этот факт ему надо было обязательно использовать.

Он появится, а зенитная установочка уже ждет его, потная от нетерпения, – тщательно смазанная, с хорошим боезапасом, с толком пристрелянная, хотя и не по земным целям, – пополам перепилит кого угодно и что угодно, даже грузовик.

Концертный зал, вход в который был прикрыт бруствером из мешков, набитых песком, был виден, как на ладони, пальцами дотянуться можно, – это обстоятельство очень устраивало Савелия, он не удержался, даже руки потер с удовольствием, словно бы добился некой победы.

– Машинка исправна, работает на все сто, – доложил ему второй номер.

– Отлично, – сказал Савелий в ответ, – доклад принят. – Глянул вниз через небольшой железный барьер, которым плоская крыша была обнесена по всему окоему, добавил приказным тоном: – Отдыхай!

Правда, отдыхать было негде – кушеточка на крыше не стояла, никто не поставил, да и мороз к вечеру начал зубы показывать, щелкал так, что только от одного этого щелканья холодно становилось. Хорошо, что не мело, по забитым снегом улочкам московского центра не ползали бесноватые хвосты поземки, не сбивали с ног детишек, случайно оказавшихся вне дома, и не загоняли в подворотни голодных собак, – вот если начнет мести, то градусы мороза смело уве-

личивай вдвое: у городских холодов – свой арифметический счет, свои претензии к людям и своя злость, которая по происхождению, может быть, даже вовсе и не природная.

Савелий прикинул на глаз расстояние до входа в зал имени Чайковского, даже на палец поплевал, как на пистолетную мушку, – было немного, совсем немного. Надо будет проверить вот еще что... Однажды, когда Сталин приезжал в этот зал на заседание, Савелий заметил, что на крыше дома, расположенного точно напротив входа в концертное заведение, расположился человек со снайперской винтовкой. На голове у него красовалась фуражка с голубым верхом – это был чекист.

Значит, вождя не только охраняли, но и оберегали от покушений, нежелательных жалобщиков и вообще от непредвиденных ситуаций: нет человека – и нет проблемы. Человек в картузе с голубой макушкой, надо полагать, дело свое знал и подобные истории ликвидировал легко – оставались только пустые гильзы.

Но вот сможет ли он справиться с зенитным пулеметом, когда тот глянет на него с соседней крыши – это большой вопрос. Наверняка у стрелка этого разом делается сыро между ногами.

Савелий еще раз обошел крышу и вернулся к зенитной установке, сел на станину, край которой был застелен старым ватником. Задумался.

Невольно вспомнил своего отца, человека покладистого,

доброе, готовое отдать последнее, что у него есть, лишь бы помочь какому-нибудь непутевому соседу, которому стало плохо... Именно из таких людей получают, как разумел Савелий, хорошие священники.

Эх, отец, отец...

Тоне Репиной было трудно, – жесткий конец, увенчанный петлей, был словно бы сработан из железа – необмятый, необтертый, мозоли такой оставляет обычно трехслойные и даже четырехслойные, мозоль на мозоли, никакой мазью их не ликвидировать, надо только отпаривать, да лечить домашними средствами, которых тут нет.

Обманчивая тихость воздуха, ласкавшая слух почти полдня, неожиданно наполнилась свистящими звуками – это затеяли свои очередные игры московские ветры.

Команде Телятникова было приказано доставить на новое место один аэростат, на старом биваке оставить также один. Мера, пояснили, временная.

Пока ветры не начали свои игры, особых хлопот не было – работа была привычной, но вот когда в воздухе раздался тонкий разбойный свист, начались трудности.

Иногда казалось, что не девушки командовали веревками и перемещали аэростат в новую точку, а веревки девушками.

Надо было бы остановиться минут на пять – семь, сделать перерыв, перевести дыхание, но Трубачева этого не делала, и не потому, что могли появиться немецкие бомбовозы (тре-

воги пока не было, значит, наблюдательные посты, находящиеся под Москвой, пока ничего не засекали), а по погодным условиям. Они были слишком уж непредсказуемыми; очень сильным, злым был ветер, пытался рвать гигантское тело аэростата на куски, по-собачьи всаживал зубы, подхватывал его, кидал в одну сторону, в другую.

Рядом с Тоней Репиной надрывалась, стонала тоненько Касьянова, вчерашняя школьница, которая, наверное, не перерастет свой возраст, так и останется школьницей, слишком уж она юная, и Тоня, которая сама выбивалась из сил, тоже стонала и сплевывала себе под сапоги тягучую, какую-то неприятно-сладкую слюну, сипела, пыталась поддержать соседку, почти не слыша своего голоса:

– Клава, крепись, родненькая! – мотала головой протестуяще, когда веревка пыталась ее развернуть вокруг собственного тела, закрутить в штопор и бросить под пузо аэростата...

До точки назначения они все же добрались, закрепили аэростат за муфту троса, и Ася Трубачева, уже сидя на земле, вытянув ноги в ватных брюках, пробормотала сипло, сплевывая слова с губ, как подсолнуховую шелуху:

– Я бы на месте командиров наших запретила бы раз и навсегда перемещения аэростатов без участия мужчин, – она замолчала, облизнула языком заскорузлые губы, с трудом перевела дух. – Обязательно должны быть мужчины... В каждой команде. Один-два человека обязательно. Иначе... – Ася

вновь перевела дух. – Иначе нас унесет когда-нибудь вместе с аэростатом в небо...

Ася Трубачева как в воду глядела. А может, ее услышала нечистая сила, подсуетилась, поселилась временно где-нибудь неподалеку в яме либо на заброшенном чердаке и начала влиять на ситуацию, складывающуюся около женщин, управляющих «воздушными колбасами». Тем более, эти колбасы могли вторгаться в жизненное пространство самой нечистой силы и вообще мешали ей летать и веселиться над московскими улицами и парками.

Хоть и узаконен был воздухоплавательный род войск как женский или «сугубо дамский», говоря словами сержанта Телятникова, а пару мужчин все-таки пообещали подкинуть в отряд Галямова.

Галямов ждал их – понимал, что ни один участок войны не может обходиться без грубой мужской силы, мужики нужны везде, кроме, может быть, швейных фабрик, где к воротникам воинских гимнастеров пришивают металлические пуговицы со звездочками...

История эта печальная произошла за сутки до появления в отряде нового военнослужащего Легошина, выписавшегося из госпиталя, ослабшего от потери крови и лекарств, которыми его пичкали, очень бледного, даже, кажется, светящегося – под кожей были видны кости...

Но пока был получен приказ об установке двух аэростатов в новом месте, – это было предложено разведчиками, и в штабе с доводами разведчиков согласились.

Аэростаты решили выставить тандемом – две колбасы на одном тросе, одна колбаса вверху, другая внизу. Штука эта – нечастая в практике воздухоплавательных полков, и прежде всего потому, что сооружать тандемы сложно. Но девушкам слово «тандем» нравилось, было в нем что-то прочное, надежное, имело заграничный аромат – то ли Парижа, то ли Монтевидео, манило к себе.

В военной и послевоенной хронике довольно часто показывали аэростаты, и если уж аэростат, попавший в кадр, переезжал на новое место, то на буксирном конце, прикрепленном к задку полуторки, сопровождаемый смеющимися девчатами.

А вот картинок, где девчата, сдуваемые ветром с земли, взлетают ногами вверх, не было ни одной, – не сочли кинооператоры нужным показывать зрителям правду, то, как это происходило на самом деле...

– Крепитесь, девчата, – со вздохом напутствовал Телятников девушек перед ручной буксировкой, – в сапоги набейте чего-нибудь, чтобы эта колбаска полуливерная не могла вас оторвать от земли... Разумеете?

– Так точно, товарищ сержант, – дружно отозвались на приказ Тоня Репина и заводила из новеньких, вдова майора Ксения Лазарева.

– Это хорошо, – добродушно хмыкнул в кулак Телятников, – значит, понимаете, что к чему, и осознаете важность задачи.

Последнее время Телятникова редко видели улыбающимся, раскованным, – раньше ему регулярно приходили письма из дома, где осталась больная жена с ребенком, сейчас был период тревожного затишья, – неужели что-то случилось? Вот бывший учитель и горбился, смолил самокрутки в раздумье и мольбе: дай Бог, чтобы с Екатериной Сергеевной, его дорогой хозяйшкой, все было в порядке, и с дочкой Катюшей тоже все было тип-топ...

Метеорологи дали вполне приличный прогноз – ни лютых морозов, ни метелей, ни сильных ветров, ни северных ураганных налетов, когда неожиданно рождается шквал, который старики из воздухоплавательного полка уважительно называют нордом и, отдавая дань его свирепости, подчеркивают: «Норд с большой буквы»...

Вначале надо было перетащить один аэростат, потом, с предварительной подготовкой, на которую Галямов отводил полтора часа, – второй.

Первый аэростат перегнали на новое место без всяких приключений, а вот в передислоцировании второго старший лейтенант, словно бы что-то почувствовав, решил поучаствовать сам.

Ася Трубачева, узнав об этом, усмехнулась грустно:

– Давно пора! Пусть узнает старлей Галямов, какой ценой

нам достается воинское счастье, побывает в нашей шкуре. – Рот у нее горько пополз в сторону, задрожал обиженно, и Ася, обрезая саму себя, махнула рукой.

– Правильно, – поддержала ее Тоня, – пусть почувствует, как аэростаты ломают нам пальцы, выворачивают руки и одаряют четырехслойными мозолями...

Поскольку зима была на исходе, то дни здорово прибавили в долготе, света стало много больше, а вообще смерзшаяся усталая природа готова была уже умереть под натиском суровой зимы, но все же не умирала, держалась, – ожидала весны. Весны нужно было дожидаться во что бы то ни стало.

В шестнадцать ноль-ноль аэростат повели на новое «место жительства». Повели, естественно, на руках, крепко держа веревки. Галямов, как старший по званию и должности, шел впереди, Телятников – замыкающим, а посередине, по обе стороны – девушки, которыми, как всегда, командовала Ася Трубачева.

Уже в дороге, когда находились в пути, но от бивака далеко не отошли, Галямов спросил у Аси:

– Трубачева, сколько времени потратили на проводку первого аэростата, случайно не засекли?

– Почему же не засекли, товарищ старший лейтенант, – засекли... Просчитали и теоретически, на бумаге, и проверили на практике. Теоретически выходило сорок две минуты, на практике – тридцать пять.

– Это без меня было тридцать пять, – старший лейтенант

хмыкнул, – без моего участия... А со мной мы уложимся в тридцать минут. – Вел себя командир самоуверенно, сразу было видно, что не ходил по трудной тропе и не таскал за собою «воздушные колбасы» на жестких неувертливых веревках-спусках...

Хотела Ася поддеть старшего лейтенанта, но не стала – пусть думает, что он самый большой волшебник в мире.

Конечно, Галямов пошел бы быстрее, – он и шаги пытался делать больше, только аэростат не был к этому готов, он едва ли не отбрасывал торопливого человека назад, вообще норovil опрокинуть его на спину, старший лейтенант сопротивлялся, кричал громко:

– Навались, девушки, на этого обормота! Подумаешь, воздушный шарик на бечевке!

Складывалось впечатление, что старший лейтенант специально хотел накликать некую силу, способную рождать нехорошие сюрпризы, а потом свернуть этой силе, – скорее всего, нечистой, – голову набок. Увы, переоценивал свои возможности Галямов. Из легкости характера, некой природной веселости, склонности вольно плавать на поверхности, не забираясь в глубину и почти не рассматривая все происходящее изнутри, из-под какой-нибудь коряги, не анализируя события, старший лейтенант часто пребывал в безвоздушном пространстве, в верхнем слое – так он лучше себя чувствовал... Иногда у него случалось, что он не мог справиться даже с самим собой.

С другой стороны, фронт сильно меняет людей и, попади Галямов в какую-нибудь передрагу, да понюхай пороха по самую затычку, он мог выйти из этой давилни совершенно другим, даже внешне не похожим на себя.

Телятников, например, был хорошо знаком с этим законом трансформации – познакомился в окопах, Галямов же был знаком много меньше, только слышал о нем, но под воздействие его попасть не стремился, желал оставаться самим собою, а вот сейчас он сровнялся с сержантом, очутившись с ним на одной плоскости, в вареве общей судьбы.

Через десять минут старший лейтенант, окутавшись веселым парком, озабоченно скрипнул сапогами:

– Ну чего, девчата, не отдохнуть ли нам пару минут, а?

– Можно, – сказала Тоня Репина.

– Только, товарищ старший лейтенант, в рекордные полчаса мы не уложимся, – предупредила Ася.

– А мы после перекура наверстаем... Трусцой, трусцой – и время наше! В руках, словно птичка.

Наверстать не удалось, – ни трусцой, ни бегом, ни иноходью, ни планированием над землей, ничем – в небесах, в верхах далеких что-то заворчал тревожно, по-звериному, словно бы у кого-то невидимого, огромного никак не могла перевариться в желудке еда, на смену ворчанию пришел разбойный свист, резкий звук этот как ножом полоснул по пространству, это была команда: сверху свалилась огромная, очень тяжелая копна снега, сбила с ног сразу трех аэростат-

чиц. Галямов прокричал что-то невнятное – похоже, не знал, как действовать, ухватился покрепче за веревку, потянул что было силы к себе, но с аэростатом не справился, аэростату это вообще не понравилось...

Под его здоровенным брюхом что-то вспузырилось, хлопнуло, и веревку с такой силой потянуло из рук Галямова, что он заорал с бешенством, словно бы крик его мог быть услышан в облачной выси:

– Эй, наверху!

Аэростат отреагировал на этот крик новым рывком, еще более резким, невидимые потоки воздуха действовали на «воздушную колбасу» одуряюще, крутили гигантское перкалевое туловище как хотели, пытались вообще свернуть его в жгут...

Следом за Галямовым предупреждающе закричала Ася Трубачева. Колбаса слепо поволокла ее по снегу, Ася веревку не бросала, видела, как перед ней перебирает сапогами старший лейтенант, сипит что-то, пытается справиться с веревкой, но ничего у него не получается, иначе бы Галямов вел себя не так.

В горло Асе залетело что-то холодное – то ли кусок снега, то ли окаменевшая ледышка, от боли начало ломить не только горло, но и всю голову.

Краем глаза она засекла, как от веревки оторвалась Феня Непряхина, лишь недавно вернувшаяся из госпиталя и поставленная в наряд, хотя Галямов не должен был этого де-

лать, – покати́лась в сторону, поддуваема́я внезапно́ появи́вшимся ветром, прокричала что-то тонко, но тут же умолкла – ее накрыл плоский, темный, как непромокаемый ватин пласт снега, загнал крик обратно в горло.

Все, аэростат они не удержат, это уже ежу понятно – упустят... А это – разбирательство, трибунал и, вполне возможно, – срок в лагере совсем не солдатском. Ася стиснула зубы, подтягивая веревку к себе, заваливаясь спиной назад, на снег, в ушах у нее тревожно зазвенела кровь, защелкали звонко какие-то железные кузнечики, затренькали, пространство перед глазами сделалось красным.

Перебирающие ноги старшего лейтенанта вдруг поползли вверх, оторвались от земли, оказались над Асей. Галямов держался, не бросал веревку... Может быть, благодаря его действиям им удастся посадить аэростат?

Загнать бы его, Змея Горыныча, под какое-нибудь высокое ветвистое дерево, прикрутить веревками к стволу, но Змей Горыныч проявлял норов, совсем вышел из повиновения, хорошо еще, что сзади Телятников вместе с девчонками держал змеиный хвост, не выпускал пока из-под своего контроля.

Ася застонала, что было силы потянула к себе веревку и, к нехорошему изумлению собственному, граничащему с испугом, обнаружила, что веревка не натянулась, она провисла, словно бы оборвалась, причем оборвалась у самого корня...

Это было плохо. Случилось то, что когда-нибудь обяза-

тельно должно было случиться. Аэростат заграждения взбе-
сился окончательно, расшвырял девушек и с воем унесся в
высь, в плотное промороженное пространство начинающе-
го вечера, унося с собою двух мужчин – Галямова и Те-
лятникова.

Сбросив с себя ненужных людей дамского пола, «воздуш-
ная колбаса» начала медленно, по-королевски величествен-
но набирать высоту, явила свой крутой бок, на котором, как
показалось деревенской девушке Тоне Репиной не хватало
только украшения из пары популярных слов, которые любят
писать на заборах разные образованные люди, довольно лов-
ко развернулась, уходя от столкновения с грядой деревьев и
поплыла дальше.

Людей она уносила с собой.

Рынок военной поры – очень скудный, даже в столице, где
до сорок первого года в торговых рядах можно было купить
что угодно, даже диковинное яйцо Фаберже из коллекции са-
мого государя императора, шпагу Наполеона, сапоги Несто-
ра Ивановича Махно, сшитые из малиновой кожи, конские
копыта для холодца, копченые бычьи хвосты, зельц из мя-
са заполярного мамонта, а сейчас покупать что-либо было
опасно – можно нарваться на гнилое сало и пирожки из че-
ловечины, где может попасться и застрять в зубах намани-
кюренный женский ноготь...

Савелий ходил на рынок регулярно, присматривался к

жидким, но шумным рядам, зорким взглядом отщелкивал неопытных продавцов, стоявших с открытыми ртами, отделяя их от матерых пиратов прилавка, способных кое-как ободранную ворону выдать за фазана, доказать, что это фазан и продать горластую любительницу шастать по помойкам по цене трех упитанных парных курей...

Агафонов искал на рынке то, не знаю что, и не находил, – а он действительно не знал, что ему надобно, внутри у Савелия существовала некая странная потребность постоянно бывать на рынке, толкаться в рядах, присматриваться к товару, выложенному на подстилке, либо просто на краю щербатого темного стола... Что-то ему нужно было, очень нужно, но вот что именно, он не знал.

Продукты на рынке он не покупал, боялся: подсунут что-нибудь несъедобное и неприятное либо вообще пакостное, к чему и прикасаться-то грех, даже заводской хлеб, который по сути своей не мог быть пакостным, не покупал... Да и не нужно ему это было.

Как бойца зенитного полка Савелия кормили в общем-то неплохо, – учитывая, естественно, нормы той поры, никто в его взводе не оставался голодным, – ни одного случая не было, и, если кому-то требовалось вместо одной миски каши съесть две, никогда не отказывали, так что Агафонов в продуктах особо не нуждался.

Тогда что же он искал на рынке?

Наконец наступил момент, когда он понял, чего ему на-

до. В рядах торгующих появились двое окруженцев – их легко можно было отличить от другого люда, – усталые, морщинистые, с красными, изожженными дымом глазами, в телогрейках, на которых не было ни одного живого места, дыра лепилась на дыре... Савелия словно бы кто-то толкнул к окруженцам.

– Здорово, мужики, – проговорил он хрипло, несколько даже надорванно, словно бы внутри у него что-то лопнуло.

– Здорово, коль не шутишь, – немного помедлив, отозвался один из них, с седой, тускло поблескивающей щетиной на щеках, прощупал глазами зенитчика, ничего подозрительного не нашел. – Ну?

– Я это... присматриваюсь, понимаете, – зачастил Савелий, слова у него неожиданно начали застревать во рту и надо было поднатужиться, чтобы освободиться от них, – пары гранат на продажу у вас не найдется?

Окруженцы переглянулись.

– Гранаты – штука опасная, – медленно, как-то неохотно проговорил один из них, наверное старшой, – можно и подорваться случайно...

– Можно, – согласился Савелий, – только это не про меня.

– Уже воевал, что ли? – окинув взглядом непотрепанную, толково подогнанную по фигуре шинель Савелия, спросил старшой.

– Что, по одежде не видно?

– По одежде как раз и не видно.

– Понял. – Савелий усмехнулся, он тоже имел глаз приметливый и, как и окруженцы, научился делать выводы и при этом не ошибаться. – Жизнь научила.

– Пару гранат сможем отыскать, – наконец после очередной паузы сказал старшой.

– Может, еще чего-нибудь найдется?

Окруженец отрицательно покачал головой.

– За линией фронта у нас разного добра было навалом, а здесь – нет.

– На нет и суда нет.

Гранаты были старые, отечественные РГД, довоенного еще производства, с железными неудобными ручками, других гранат у окруженцев не было, поэтому пришлось довольствоваться тем, что имелось, тем более заламывать за них заоблачную цену окруженцы не стали, взяли по-божески, и Савелий обзавелся карманной артиллерией. Впрочем, зачем она была ему нужна, где он сумеет ее использовать, Агафонов пока не знал... Не придумал еще.

Со старшим окруженцем он расстался по-дружески, даже ударил по рукам, словно бы ему когда-нибудь вновь предстояло встретиться с этим человеком. Спросил только:

– На фронт скоро?

– Уже формируют команду, – ответил окруженец неохотно, – дня через три, думаю, погрузят в машины и отправят под город имени дедушки Калинина, в те края.

Окруженец, прошедший все огни и воды, врал: на передо-

вую он отправлялся не через три дня, а уже завтра, и не под Калинин, а на юг, на волжские просторы, на суда, которые будут таскать с бакинских промыслов на заводы каспийскую нефть... И дело это, говорят, было не менее опасное, чем походы за линию фронта за языками.

– Ну тогда чего... – Савелий приподнял плечи, словно не ведал, что положено говорить в таких случаях. – Тогда чтоб вернулся домой с фронта целым, с руками и ногами. И орден чтоб красовался на груди.

– Орден – необязательно. – Окруженец небрежно махнул рукой. – Главное – жизнь.

Он был прав, этот мятый-перемятый обстоятельствами, фронтом, отступлением, допросами в чекистском чистилище мужик, жесткий рот у него дрогнул, одним углом пополз в сторону словно бы окруженец вспомнил что-то хорошее, – главное было уцелеть в жестоком нынешнем времени. Для Савелия это также было делом далеко не последним.

Подбросив на плече «сидор» – надо заметить, не самодельный, сотворенный из картофельного мешка и двух веревок, а заводской, сшитый на промышленном предприятии, аккуратный, всем «сидорам» пример, – окруженец, косолапя и горбясь, ушел. Через мгновение он растворился в пространстве: только что был – и не стало его. Освободившееся место заняли две добротнo одетые теткИ в клетчатых полушалках и валенках с подшитыми кожей пятками, притащившие на продажу целый куль семечек.

Может, окруженца этого не было вообще? Но нет, он был, точно был, на дне «сидора», который был перекинут у Савелия через плечо (между прочим, также заводского производства) тяжело стукались друг о дружку, оттягивали лямки две боевые гранаты.

Это было страшно видеть: «воздушная колбаса», словно бы злобное животное, умеющее самостоятельно передвигаться и, что самое плохое, летать, – вместе с двумя повисшими на ней людьми уплывала в высокое плотное пространство, в котором в эту минуту ничего не было, ни солнца, ни облаков, а была какая-то туго сбитая вата, раскатанная, спрессованная до деревянной твердости.

На мгновение Асе Трубачевой показалось, что аэростат упрется сейчас своим тупым носом в непробиваемый небесный потолок и сдастся, потихоньку пойдет вниз, но не тут-то было...

«Воздушная колбаса» поднималась все выше, в ушах растерянных, тяжело дышавших пленников аэростата разбойно посвистывал ветер.

Но растерянность – не самое опасное для них, для Галямова и Телятникова, не сумевших вместе с девчатами удержать аэростат, гораздо опаснее – сплеховать, сдать. Сейчас важно, до слез и стога важно – устоять, не сломаться, поскольку предстоит чудовищная проверка на все, к чему они готовились всю предыдущую жизнь – на физическую

крепость, на способность сопротивляться холоду, усталости, перегрузкам, страху, высоте, смерти, плюс будет проверена возможность управлять колбасой в условиях, хуже которых быть просто не может, – а колбасу эту чертову надо будет во что бы то ни стало направить к земле...

Возможен и другой исход – в случае, если с колбасой не удастся справиться и у них кончатся силы, то оба они – и старший лейтенант и сержант – сорвутся и унесутся вниз, к губительной тверди.

Изогнувшись, кряхтя надорванно, глотая обжигающе морозный воздух, Телятников сумел просунуть в петлю, завязанную на конце веревки, носок валенка, а двупалую рукавицу смог продеть под другую веревку, поперечную... Стало легче дышать. Сержант был обут в надежные валенки, а вот Галямов... с Галямовым дело обстояло хуже: на нем, как Телятников засек еще на земле, красовалась обувь командирская, щегольская – ярко начищенные сапоги. На высоте, в воздухе в сапогах не очень-то уютно делается всякому человеку, даже очень закаленному, – долго никто не протянет.

Сержант не сдержался, поморщился, лицо у него поползло на одну сторону: не о том он думает, о другом надо думать – они со старлеем находятся в одном локте от смерти, всего одного движения достаточно, чтобы очутиться на том свете.

– Товарищ старший лейтенант! – с тяжелым сипом выдавил из себя Телятников. – А, товарищ старший лейтенант!

В ушах у него заполошно завыл ветер, ничего не стало

слышно, даже собственного сипения. Аэростат продолжал подниматься, отсюда, с небесных верхов, деревья, растущие на земле, были не больше фикусов, обитающих в кадках, а крыши двух сараев, стоявших на закраине кривого мелкого оврага, вообще были похожи на спичечные коробки.

– Товарищ старший лейтенант! – изо всех сил прокричал Телятников и в то же мгновение умолк, хлебнув крутого морозного воздуха.

Галямов не отзывался, его не было видно, но он ощущался, вернее, не он сам, а его вес, если бы старшего лейтенанта не было, «воздушная колбаса» вела б себя по-другому, поднялась бы уже на высоту, в два раза большую.

Надо было думать, как добраться до механизма, через который водород закачивают в перкалевую кожуру-оболочку и через который газ можно стравить. А стравливать надо обязательно, иначе колбасу унесет не только вверх, но и вдаль, к линии фронта.

А обстановка вокруг Москвы сложилась такая, что фронт находился везде, всюду – и под Калинином, и под Тулой, и под Калугой, и под другими крупными городами едва ли не по всему окоему, – так что, куда ни подует ветер, куда ни понесет, почти везде можно попасть в плен к Гитлеру.

А в плену ни аэростата, ни людей не пожалеют, колбасу пустят в костер, – причем враги постараются, чтобы жаркий огонь был виден в самой столице, а Теляникова со старшим лейтенантом отправят в концлагерь, где, как слышал сер-

жант, для всякого советского солдата одна дорога – в печь.

До стравливающей головки надо было добираться метра два, два с половиной, не меньше... Только вот как преодолеть эти два с половиной метра – большой вопрос, но их надо одолеть, иначе ни Галямову, ни Телятникову не жить: либо с аэростата сорвутся, либо на высоте замерзнут, либо в плен попадут, либо очередной шквал ветра свернет оболочку, как матрас, в несколько частей, сожмет ее, и «колбаса» с воем, как подбитый самолет, понесется вниз.

Страха не было, хотя высоты Телятников всегда побаивался, но боязнь высоты присуща всякому человеку, если не присуща – значит, этому деятелю надо ложиться в больницу, нервная система у него не в порядке, – да потом сержант в заснеженную глубину пространства старался смотреть пореже, лишь для ориентации, и как только по хребту начинала течь холодная острекающая струйка, тут же переводил взгляд на сытое туловище аэростата.

Ему казалось, что внутри «воздушной колбасы» голодно урчит огромный желудок, способный переварить не только его со старшим лейтенантом, но и весь их воздухоплавательный полк, – всех девчонок вместе с сапогами, валенками, телогрейками и шапками-ушанками.

А лишить аэростат силы, выпустить из него пары, летучий газ водород и что там еще к водороду примешано, надо обязательно. Был бы в кармане у Телятникова хотя бы перочинный нож, тогда можно было бы аккуратно прорезать ткань и

выпустить из колбасы газовую начинку, но карман у сержанта был пуст, а раз ножа нет, то и думать об этом нечего...

Надежда остается только на милость ветра, который может стихнуть, да на силы свои, что не дадут замерзнуть или сорваться с аэростата, еще – на собственную бестолковку: вдруг в голову придет что-нибудь дельное?

На всякий случай он закричал вновь, стараясь вложить в крик всю силу, что имелась у него – очень важно было, чтобы старший лейтенант услышал его, но крик до Галямова не дошел, ветер отволок его в другую сторону и забросил на кудрявую поверхность темной зимней тучи, а может, откинул еще дальше.

Под аэростатом, глубоко внизу, медленно проплывали московские дома с заснеженными, похожими одна на другую крышами, пустынные улицы... Телятников хоть и старался не смотреть вниз, а все же смотрел, – засек две зенитные установки, одну на крыше дома, вторую в окопе, специально для нее вырытом.

Длинный тонкий ствол второй установки угрюмо смотрел в небо, целился прямо в аэростат, и Телятников невольно поежился: вдруг сейчас из ствола выхлестнет пламя? У него даже во рту сделалось сухо, а на правом виске судорожно задергалась мелкая жилка.

Но зенитная установка молчала, хотя около нее бегали встревоженные люди, обсуждали что-то, красноречиво тыкали пальцами, открывали рты, но этим делом – тыканьем

да распахнутыми ртами – все и закончилось.

Может, лучше было бы, если б кто-нибудь из зенитчиков взялся за винтовку и пустил в оболочку аэростата пулю? Нет, на это никто не осмелился.

– Э-э-э! – прокричал Телятников, надеясь, что крик долетит до земли, его услышат, но нет, ветер забил крик назад в глотку, сержант даже сам ничего не услышал.

Вновь под «колбасой» потянулись унылые заснеженные крыши – одни были засыпаны льдистой беляю по самые трубы, другие – заснеженные частично, некоторые вообще голые, крошка не держалась на них совсем.

Сержант вцепился руками в веревку, сделал несколько резких движений, отгоняя от себя холод, позвал Галямова, совсем не надеясь, что тот его услышит:

– Товарищ старший лейтенант!

В ушах у Телятникова взвизгнул ветер, прошуршал чем-то жестяным над головой и стих, в следующий миг сержант услышал далекий стертый голос – Галямов отозвался.

Вот только, что он говорил, понять было невозможно, – как считается в таких случаях, связи со старлеем не было, да и, если уж на то пошло, Телятников соображал в аэростатах больше, чем его командир, поэтому он, несмотря на секущий холод, стискивая зубы и поняв, что из Галямова вряд ли получится помощник, начал прикидывать, как бы добраться до спускового клапана, до вентиля или что там спрятано в косо обрезанном огузке, куце прикрытом тканью.

Руки замерзли так, что Телятников уже не чувствовал пальцев, вместо них едва шевелились какие-то нестигаемые деревяшки, ноги тоже должны были ничего не чувствовать, но ногам было лучше – на них были натянуты плотные, хорошо скатанные на фабрике валенки, – спасибо тем женщинам, что сумели изготовить для бойца такую надежную обувь...

В уголках глаз вспухли горячие капли и тут же примерзли к векам – ветер и мороз мигом превратили слезы в лед.

– Товарищ старший лейтенант! – прокричал Телятников вновь. – Галя-ямов! Как далеко вы находитесь от блока сраживания? Сможете до него добраться?

В ответ прозвучало что-то невнятное, скомканное, сержант не разобрал ответного крика, его сплющил ветер и унес в сторону. Тогда Телятников закричал снова, но и из этой попытки также ничего не получилось.

Зато крик сержанта услышал ветер или тот, кто этим ветром управлял, – разъярился, взвыл, с силой ударил в бок аэростата, затем зашел с другой стороны и снова ударил...

Второй удар был очень сильным, у Телятникова даже зубы лязгнули, а в голове возник железный звон, и сержант чуть не сорвался с аэростата. До крови закусил губы, но удержался.

Вой стих на несколько мгновений и в этот крохотный промежуток времени, в эту страшную тишину Телятников услышал шелестящий, схожий с шепотом, голос старшего лейтенанта:

– Замерза-аю!

– Держитесь, прошу вас, – совсем не по-военному, а как-то по-штатски, по-учительски прокричал Телятников, – очень прошу! Я сейчас чего-нибудь придумаю!

А что он мог придумать, сержант Телятников? Да ничего, собственно. Для того чтобы выпустить из оболочки газ, надо было добраться до механизма стравливания, а это ему не удастся. Проткнуть чем-нибудь острым перкаль? Можно, конечно, только проткнуть нечем – это раз, и два – это опасно: неизвестно, как поведет себя продырявленный аэростат.

Но еще опаснее – улететь куда-нибудь в Тьмутаракань на взбесившейся «колбасе». Или того хуже – сорваться и с воем унести вниз, к замороженной земле... А в земле, кстати, начали проявляться весенние краски – то вдруг снег посвечивал облегченно, но косой слабенький свет этот невольно попадал в глаза, то неожиданно под самым аэростатом спящее дерево приходило в себя и, несмотря на мороз, встряхивало ветками так, что вся приставшая к сучьям и стволу пороша осыпалась без остатка, то вдруг появлялись яркие синие тени, – ну будто, в солнечную погоду, хотя солнца не было, – жили несколько минут и исчезали.

Это означало одно – скоро придет весна. А с весной тепло, светлое ощущение пробуждения, вызывающее тревожную радость... С фронта обязательно придут хорошие вести, с ними и Телятников, и девчата его, обязательно ознакомятся в «Красной звезде», которую в девятый полк доставляли не

три экземпляра, как в другие полки, а целых пять, – побитые немцы вскинутся и, проворно подхватив свои сапоги и ранцы, побегут домой... Дай-то бог, чтобы это произошло.

В преддверии весны никак не хотелось умирать.

Савелий получил из дома письмо, наказавшее мать, в конце письма имелась короткая приписка, всего в несколько строк, начертанная аккуратными округлыми буквами, – это расстаралась соседская девчонка Нюрка, она успешно окончила семилетку и теперь помогала в колхозе, в бригаде, обслуживающей скотный двор.

Хотя, если честно, девчонке надо было бы учиться дальше... Но куда сейчас пойдешь учиться, когда кругом война? Кругом беда, а с нею полно всего сопутствующего – и холода, и голода, и смертей.

Нюрка, желая ободрить Савелия, писала, что «хорошие люди видели Вашего папеньку Тимофея Никитича, который был живой, здоровый и выглядел недурственно». Это была отличная новость, лучшая, пожалуй, из всех, что он получал из родной деревни в последний год.

Конечно, великая новость – то, что фрицев отогнали от Москвы, но эта новость, так сказать, государственного масштаба, а вот насчет папеньки – новость сугубо личная.

Нюрка же – девочка толковая, упрямая, умеющая видеть цель и достигать ее, она выберется из сельской ямы... Кто знает, может быть, журналисткой будет – вон какое складное

дополнение она приладила к письму, ну будто золоченым перышком, выданным из хвоста павлина писала... Хотя и отрекся Савелий официально от отца, а отец – это отец. Он – единственный, родной. Какие бы гадости ни заставляли о нем говорить и какие бы пакости ни велели писать.

При мысли об отце у Савелия всякий раз лицо делалось чужим, каким-то отвердевшим, в груди возникал холод: перед отцом он чувствовал себя не то, чтобы виноватым, нет, – сказать просто «виноватым» – значит, ничего не сказать.

Ему за отречение от отца надо отрубить руки – самые кисти, чтобы чувствовал свою вину до гробовой доски, – чувствовал и маялся.

Но за эту его вину должен ответить другой человек, – вспоминая его, Савелий крепко сжимал челюсти, на щеках вздувались твердые, как камни, желваки. Савелий продолжал готовиться к делу, которое задумал.

На воинской службе своей он вел себя безупречно. – придраться было не к чему, получал только поощрения, в разговорах был ровен и доброжелателен со всеми, кого видел, однажды даже подал бумагу о том, чтобы его отправили на передовую, но оказалось, что такие кадры, как Савелий Агафонов, очень нужны были в Москве, в зенитной части, – и Савелию отказали.

Гранаты, купленные у бывших окруженцев, он спрятал на чердаке небольшого каменного здания, в котором расселили дивизион зенитного полка ПВО.

Время шло. Савелий Агафонов ждал...

Все попытки подобраться к стравливающему механизму ни к чему не привели, Телятников никак не мог дотянуться до него: слишком уж огромен был объем аэростата, оболочка его вмещала не менее ста кубов газа. Это был летающий дом.

Дом продолжал неспешно плыть над землей, иногда прилетал ветер, наносил несколько гулких кулачных ударов аэростату в бок, и «колбаса», плаксиво морщась ушибленными кусками ткани, убыстряла свой ход.

Потом прибежал другой ветер, бил аэростат в округлый нос, где на веревке висел Галямов, делал вдавлину, и старший лейтенант вертелся, будто волчок, кричал что-то невнятно. Крики его становились глуше и глуше – Галямову «колбаса» отвесила испытание по полной программе, он слабел и замерзал одновременно.

Телятников ничем не мог ему помочь.

Стало понятно окончательно, что до стравливающего вентиля он не доберется вообще, единственная продольная веревка, которая была проложена по телу «колбасы», слишком плотно врезалась в длинный покатый бок аэростата, под нее не то чтобы ногу, даже руку, даже пальцы нельзя было просунуть – плоть «колбасы» сделалась стальной.

Оставалось одно, и это было рискованно, – проткнуть ткань аэростата... Вот только чем проткнуть, не валенком же! Ножа нет, какой-нибудь булавки, скрепки, заколки, об-

резка проволоки, отвертки, штопора, шила, дверного или гаечного ключа, завалившегося гвоздя, ручки-самописки с острым пером, положенной всякому тыловому командиру, тоже нет, как нет и иголки, которая вместе с ниткой бывает у всякого солдата заткнута за отворот шапки, – так чем же дыривить ткань?

Тем более, в последнее время с завода стали приходиться аэростаты, сшитые из особо прочной ткани, покрытой алюминиевым порошком, – такая ткань не уступает металлу... И чем ее одолеть, если ее, может быть, не берет даже пуля?

Впору было кричать от досады, ветра и мороза, которые скоро склеят рот льдом, от страха – ведь может произойти самое тяжелое и трагическое из того, что есть на свете. В голову пришла сумасшедшая мысль: а если попробовать зубами? Вдруг ткань поддастся? Телятников подтянулся немного, провис веревки намотал на руку, подтянулся еще, потом еще, – буквально из последних сил, и вцепился зубами в металлизированный перкаль.

И смешно это было, и грешно. Иными словами не определить, что сейчас делал сержант Телятников. У самого его возникло впечатление, что он пытается прокусить плотную, отвердевшую на морозе резиновую колоду... Или литой каблук от старого болотного сапога.

Подавится он «воздушной колбасой», как пить дать.

Аэростат продолжало нести на запад, к недобро задымленному горизонту. Уже уползли в оставшееся позади про-

странство крыши окраинных домов, в которых до войны жили вербованные строители, а также заводские смены, которые привозили из Владимирской, Рязанской, Тульской и Калининской областей.

Так их скоро донесет до Ржева, до Калинина, а дальше... дальше уже будет линия фронта, окопы и минные поля.

Что делать?

– Товарищ старший лейтенант! – прокричал Телятников, прислушался – не отзовется ли? У старшего лейтенанта обязательно ножик должен быть, хотя бы маленький, которым затачивают карандаши.

Нет, не отозвался старлей... А ведь у него еще и пистолет есть, в кобуре болтается. В крайнем случае в коварную колбасу можно всадить пулю.

А вдруг от раскаленной пули взорвется водород? Но может и не взорваться... А вообще-то этого бывший учитель истории не знал, на кратких курсах, которые он окончил несколько месяцев назад, этот вопрос не проходили.

Но штука эта – из разряда тонких капризных наук, тут все нужно знать точно.

– Товарищ Галямов! – вновь выкрикнул он, замер на мгновение, прислушиваясь к пространству, – голос ушел в пустоту, не было ответа Телятникову.

А Галямов держался из последних сил, – он слышал далекий оклик сержанта, но ответить не мог, рот свело от холода, нижняя челюсть приросла к верхней, смерзлась, скулы

омертвели, глотка, кажется, по самый верх была наполнена льдом.

На боку у него действительно болталась кобура с пистолетом ТТ, но Галямов сейчас не смог бы ничего с ним сделать, даже расстегнуть кобуру. Пистолет вообще выпал из поля его внимания, старший лейтенант просто-напросто забыл о нем.

Галямову было труднее, чем его напарнику по несчастью, – он висел на передней, носовой веревке, той, за которую аэростат вели, как собачонку, – весь холод, все ветры и морозы, все до единого были его, – в общем, доставалось ему по полной выкладке. Телятникову было проще, от прямого холода, от ветра его прикрывала туша «воздушной колбасы», да и одет он был по-солдатски, а не по-командирски, не так щегольски легко, как Галямов...

Одет он был как всякий боец, которому предстояло действовать на морозе. Одежда эта была продумана и утверждена в высоких штабах.

Ася Трубачева некоторое время бежала за аэростатом, даже пыталась подпрыгивать, чтобы ухватиться за свисающую веревку, но веревка, словно живая змея, обманывала ее, выскользывала из пальцев, один раз даже обвила кисть руки, но в следующий миг неожиданно резко подпрыгнула... Не удалось Асе задержать «воздушную колбасу».

Выдохшись, захлебнувшись морозным воздухом, – причем хлебнула столько, что Асе показалось: сейчас она закаш-

ляется кровью, – Трубачева остановилась и неожиданно рухнула в снег.

Растянулась на нем боком, постанывая от обиды и неверия: ведь за утерю аэростата весь их пост отдадут под трибунал (а это – тринадцать человек, чертова дюжина), подтащила к себе ноги и тихо, обжигаясь слезами, заплакала.

Девушки подбежали к своей командирше, окружили ее, пробовали привести в чувство, трясли за плечи, но Ася не ощущала ничего, хотя хорошо понимала, что находится на краю большой беды.

Наконец Ася поднялась и, пошатываясь немощно, начала отряхиваться, движения были слепыми, неверными, словно бы в ее организме что-то разладилось. Света Агагулина кинулась к ней, попыталась помочь, но Ася отстранила ее и с горестным вздохом, – уже немного пришла в себя и начала ориентироваться в окружающем пространстве, – проговорила:

– Все, девчата, возвращаемся на пост... Надо срочно доложить о происшествии, иначе с нас снимут головы.

– С нас тоже? – испуганно воскликнула Феня Непряхина.

– С вас не знаю, но с меня точно, – угрюмо и жестко произнесла Ася. – Пошли!

Она развернулась резко и, со стеклянным хрустом давя валенками снег, побежала в сторону поста. Аэростатчицы, выстраиваясь цепочкой, след в след, потянулись за ней: Ксения Лазарева, Феня Непряхина, Света Агагулина, Клава Ка-

сьянова, – встревоженные, придавленные ситуацией, в которую попали, и оттого сгорбившиеся по-старушечьи, молчаливые, – не знали они, что с ними будет, отдадут их под трибунал за утерю военного имущества или нет, простят или не простят: аэростат – штука дорогая, гораздо дороже жизни человеческой, поэтому может случиться так, что их поставят под стволы винтовок...

Очередной порыв ветра с барабанной дробью прошелся стальными кулаками по выпуклому, отсвечивающему темной алюминиевой окалиной боку «воздушной колбасы», подбросил аэростат на полтора десятка метров вверх. Телятников ухватился за веревку покрепче, – он вообще был готов сам стать веревкой, но только как это сделать? – чего-чего, а этого сержант не знал, – прижался к жесткой промерзлой веревке лицом, ободрал себе щеку и в то же мгновение услышал слабый, раздавленный морозом крик.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.